

Офицерский
Честь и имя
роман



*Аркадий
Первенцев*

**Честь
СМОЛОДУ**

Офицерский роман. Честь имею

Аркадий Первенцев

Честь смолоду

«ВЕЧЕ»

1948

Первенцев А. А.

Честь смолоду / А. А. Первенцев — «ВЕЧЕ»,
1948 — (Офицерский роман. Честь имею)

ISBN 978-5-4484-8155-0

Роман «Честь смолоду» известного русского писателя Аркадия Алексеевича Первенцева (1911–1981) основан на реальных событиях Великой Отечественной войны и посвящен героической советской молодежи и ленинскому комсомолу. Автор призывает к чувству ответственности перед своей страной, предоставившей подрастающему поколению различные права, но в свою очередь потребовавшей от них исполнения определенных обязанностей, среди которых наиглавнейшей является защита Родины. Данная позиция четко отражается на ситуации, сложившейся с героем романа Павлом Фесенко, который предал своих боевых товарищей, а те справедливо его наказали.

ISBN 978-5-4484-8155-0

© Первенцев А. А., 1948

© ВЕЧЕ, 1948

Содержание

Часть первая	6
Глава первая. Гибель «Медузы»	6
Глава вторая. Прощай, море	11
Глава третья. На привале	16
Глава четвертая. Конечный пункт фургона	19
Глава пятая. Фанагорийцы	23
Глава шестая. Первый трактор	28
Глава седьмая. Четыре подковы	34
Глава восьмая. Богатырские пещеры	39
Глава девятая. Выстрел	45
Глава десятая. Дальнейшие события	52
Глава одиннадцатая. Первая ответственность	55
Часть вторая	58
Глава первая. Война	58
Глава вторая. Первая встреча с отчаянным капитаном	60
Глава третья. Парашютисты	65
Глава четвертая. Навстречу врагу	69
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Аркадий Алексеевич Первенцев

Честь смолоду

© Первенцев А.А., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

*Героической советской молодежи,
Ленинскому комсомолу посвящая*

Часть первая

Глава первая. Гибель «Медузы»

Начавшийся с полудня ветер к вечеру прибавился на три балла. Это был нехороший ветер, дующий наискось по морю. Его боялись рыбаки, уходившие далеко в море, и называли странным словом «гарби», неизвестно откуда пришедшим на Кавказское побережье. Гарби изменчив и может внезапно перейти в береговик. Тогда ищи баркасы и фелюги в открытом штормовом море. И если выбрасывает обломки рыбацких суденышек где-нибудь на болгарском или румынском побережье, знай, что это невольные гости с Кавказа, жертвы гарби.

Рыбачья гребная ватага весело отвалила сегодня поутру в море. Вместе с ней ушли мой отец, Иван Лагунов, и два старших брата – Матвей и Илья. С завистью я, восьмилетний мальчишка, провожал баркасы. Заскрипев киями на крупнозернистом песке и разноцветной гальке, они врезались в зеленую воду.

На старом баркасе «Медуза» ушел Матвей – ему только-только двенадцатый год, на втором, вместе с отцом, – десятилетний Илюшка. Мать несмело просила отца оставить детей, не брать с собой, но отец сгреб сразу двоих. Он сдал Матвея молодому, удачливому болгарину Николе, а Илюшку бросил голым пузом на выскобленную, желтую, как орех, корму своей лодки «Коля Руднев».

Ватажек Антон Сторокож искоса посмотрел на мать. Она была тогда такая красивая, с волнистыми, забранными в узел светлыми волосами, со смеющимися черными глазами и разлетными бровями. Уловив тревогу в ее всегда смеющихся глазах, Сторокож присел на корточки, захватив горсть сухого песку, и подбросил его вверх. Песчинки упали отвесно. Потом Сторокож поспешил палец и подставил его ветру. Но какой там ветер! Баркасы уходили в полный утренний штиль. Ничто не предвещало гарби. Ни одного облачка не лежало на горах, обступивших долину. Третий месяц не было дождя. Даже в горах, в высохших руслах, на донных валунах стал обсыпаться мох.

Сторокож отдал команду. Ватага погрузила новые камбальные сети, ружья, – может быть, попадутся дельфины, – запасные весла, пресную воду, сухую рыбу, брынзу и хлеб.

«Медуза» ушла в голове. Болгарин Никола, чубатый, черный от загара, стоял на корме у руля и озорно покрикивал на загребных. Матвей, чтобы не встретиться со мной глазами, смотрел в море. Сестренка Анечка с куклами подмышкой махала обеими руками уходившим баркасам. Было, как всегда при уходе в море, шумно, весело, радостно.

И вот утренняя светлая радость сменилась тревогой. Мне никогда не забыть этого вечера, так круто повернувшего нашу жизнь. Как сейчас вижу солнце, какое-то мягкое, расплавленное, красное. Кажется, что оно всей своей подрагивающей массой быстро падает в море. Будто чья-то могучая рука, еще придерживающая его сверху, разжимается, и солнце ныряет, как медный пятак в копилку. Море сразу же темнеет, а волны, только что летевшие к берегу с красноватыми просветами на изломе, становятся черными и страшными.

Внезапно умолк тоненький голосок Анюты, любившей распевать песенки. Сестренка играла в куклы под старым баркасом. Теперь она подходит ко мне. Ветер треплет ее косички, перекидывает их через плечи. Я догадываюсь по ее испуганным глазам, по сжатым губам, что она волнуется. Наматываю на кизиловое удилище леску, стараясь не зацепить прыгающим крючком сестру. Передаю ей бычков, нанизанных на кукуан – шпагатинку с палочкой на конце, чтобы не соскальзывали рыбы.

– Отнеси для Лоскута.

– Подожди, Сереженька, – шепчет Аня и глядит на море как замороженная.

Я тоже перевожу взгляд в ту сторону, куда смотрит девочка, куда смотрят собравшиеся на берегу мальчишки, женщины и старики.

Пенные гребни похожи на плывущих белорунных барашков. Они плывут, ныряют и вновь появляются на поверхности моря, но не могут доплыть до берега. Туда приходит обычная, громкая волна с высоким седым завитком. Волна идет вдоль берега справа налево, закручивается гигантский коловорот.

Аня испуганно смотрит на волны и осторожно на вытянутой руке держит кукан. Головастые рыбешки, нахватавшись воздуха, не трепыхались, обвисли, как сосульки, их выпуклые глаза застыли.

На берег пришли наши овчарки – рыбоеды и гроза шакалов. Собаки, вильнув хвостами, легли, вытянув вперед свои большие мускулистые лапы и повернув к морю длинные черные морды, покрытые породистыми родинками. Изредка овчарки поглядывают на людей. Мне кажется, они чувствуют нашу тревогу.

Море разыгралось. Коловорот кружился с шипящим рокотом, стучали выброшенные камни, летела пена, как стружка из-под гигантского рубанка волны, строгавшей побережье.

На дамбе появилась мать. В сгущающихся сумерках ее фигура отчетливо проступает на фоне скорченных от засухи ажинников. Мать приложила руку к глазам. Вряд ли удастся ей сейчас что-либо разглядеть. Разве только рыбаки зажгут фонари? Мать окликнула нас. Мы пошли к ней, и вслед за нами, мягко ступая сильными лапами, направились овчарки.

Наружно мать была спокойна. Но глаза ее не смеялись, как всегда, губы были сжаты.

– Мама, они еще не возвращаются? – спросил я.

– Они и не должны еще вернуться, Сережа, – ответила мать.

– Но пришел гарби, мама.

– Вот хорошо. Поставит паруса.

– Хорошо паруса! – сказала без улыбки сестренка. – Покататься хорошо.

– Тебе бы только кататься, – укорил я сестренку.

– А я не люблю рыбу.

– Что же ты любишь, доченька? – Мать подхватила ее на руки.

– Мороженое.

Мать провела рукой по голове Анюты и строго улыбнулась. Но на душе у меня не посветлело. Спустившись по гравийной дороге, мы направились к дому. Вплотную к молодым эвкалиптам, прикочевавшим сюда вместе с человеком, вдоль побережья росла ажина, густые, сплетенные лианами кусты, – там ютились безвредные толстые змеи-глухари и даже большие желтобрюхи, или полозы.

Засуха разламывала землю, высушивала колодцы, родники. Эвкалипты, посаженные для осушения мокрых низин, стояли понуро, как плакучие ивы. Засыхали цветы и травы.

А рядом, у наших ног, лежало бесконечное море. Столько воды! Бесполезной горько-соленой воды!

Жилища поселка были разбросаны по небольшой гряде, предшествующей мощному террасистому контрфорсу Кавказского хребта. Это определение характера местности я постиг уже в войну, когда пришлось в тактических целях изучать знакомое с детства побережье. А в детстве я знал: от берега за дамбой идет низина, заросшая ажиной, которую наше воображение наполняло бесчисленным количеством змей; дальше поднимается горка, где выстроены домики рыбаков, затем снова низина, а за ней горы, покрытые дубами, чинарами, фундуком, а дальше... Там уже неизведанные дебри, где можно встретить разных хищных зверей, даже медведей и кавказских тигров. Оттуда осенними ночами доносятся крик сов, плач и хохот шакалов и еще какие-то звуки, леденящие кровь. Мы знали, что люди там рубят и корчуют лес и ставят дома, санатории, проводят шоссейные дороги, сажают пальмы, бананы, олеандры и лавры.

...Гасли звезды. Высокие мрачные колонны облаков падали, загорались от заката и текли, как дымы близких пожаров. Веерные листья пальм-хамеропс дробно тряслись под ветром. Как паруса, надувались листья бананов. Сухой воздух постепенно напитывался влагой, холодел.

Ночью после коротких пушечных ударов грома хлынул ливень. Небо было сплошь покрыто облаками, а горы едва виднелись на горизонте. Как светляки в траве, горели далекие электрические огни курортного города.

Я боялся грозы, но детское любопытство оказалось сильнее страха. Выскользнув из-под одеяла, я на цыпочках вышел на веранду.

Дождь лил сплошной стеной. Это был причерноморский субтропический ливень с его стремительными потоками и мельчайшей водяной пылью.

Вода неслась по листьям бананов, как по желобам. Пальмы клонили свои веера. Казалось, что мчавшаяся вода вспыхивала при свете молний, как огненная жидкость.

Я прислушался: ни резкого стрекота древесной лягушки, ни скрипенья пыльчиков-кузнецов, ни треска зеленой ночной мухи, – только дождь, удары грома, блеск молнии и шум потоков.

Море гремело, хотя ветер постепенно стихал. Услышав в комнате шорох, я проскользнул в дверь и юркнул под одеяло. Я видел, как поднялась мать и вышла на веранду. Она долго стояла, освещенная молниями, глядя в сторону моря.

Я проснулся от звонких криков сестры:

– Наши! Наши! Наши!

Я вскочил. На веранде, прижавшись к перилам, стояла сестренка и, радостно махая обеими руками, кричала:

– Наши! Наши! Наши!

Я заметил на горизонте точки. Снова показалось солнце – новое, ясное, разнося по долине ручьи света.

В море, по руслу реки, вышла глинистая дождевая вода. Отсюда, с веранды, она казалась коричневой, резко выделяясь на темно-синем море. Реки натащили в море столько глины, песку и деревьев, что казалось, образовали новый, не имеющий еще названия мыс.

Резвые ноги несли меня к морю, словно по воздуху. Встречать ватагу спешили и стар и мал – все жители поселка. Люди бежали к берегу, сбивались кучками, перегоняли друг друга.

Причалов не было: их все равно унесло бы море. Но рыбаки обычно приставали к одному месту. Здесь-то сгрудилась толпа. Всмотривались туда, где в сиянии моря на равномерных взмахах желтых весел шли темные остроносые баркасы. Пересчитывали лодки. Кто-то заметил отсутствие «Медузы». Баркасы подходили ближе. Вон крайний слева – «Коля Руднев», на нем едет отец; вон флагман-мачтовка «Сила Буденного», на нем стоит седой ватажек Стоорокож; вон гребная фелюга с низкими бортами, будто вырезанными ножницами. Это «Капитанская дочка», или, как ее называют все, «Мусульманка». Ее захватил в беспокойную ночь Михаил Балабан, командир морского пограничного поста, прозванный на берегу отчаянным капитаном. «Мусульманка» попала в руки Балабану вместе с пятеркой акмаабдских контрабандистов-турок и грузом шелка, чулок и трапезундского табаку. Балабан передал рыбакам трофейную фелюгу и вскоре перешел в Крым. Мы, дети, не видели Балабана, но романтически преклонялись перед ним. На корме «Капитанской дочки» в бушлате сидел совсем еще молодой парень Стенька Лелюков, соперник в удали и хватке болгарина Николы.

Но Никола не вернулся с ватагой. Не было его быстходной «Медузы», не было экипажа, и не было брата Матвея. Лодки приближались, ясно освещенные восходящим солнцем. Я видел даже патронташи дельфинобоев, седые виски Стоорокожа, его пасмурные глаза и широкое, усатое, бесконечно дорогое лицо отца. Возле отца сидел Илюшка, прижавшись к его коленям, закрытым кожаной гармошкой сапог. Может быть, Никола пошел другим курсом? Может

быть, где-нибудь он уже выпрыгнул на берег, размялся и, засмеявшись так, что сверкнули его сахарные зубы, бросил на песок нашего Матюшку, и ну с ним возиться... Так играл Никола с нами, ребятишками. И мы любили этого веселого, красивого болгарина. А может, увела Николу дельфинья стая, а тут шторм. Может, догоняет он ватагу? Удачлив же Никола!

Подобные мысли приходили в голову и другим. Всем были хорошо известны опасности, связанные с мастерством рыбаков и дельфинобоев. Вокруг себя я слышал предположения, произнесенные и громко и шепотом. Сердце матери видит дальше всех и чует лучше, чем чье-либо другое сердце. Она закусила губы, чтобы не разрыдаться и не показать свои чувства. Мать стояла не пошелохнувшись и неотрывно смотрела на приближающегося «Колю Руднева», чуть подавшись вперед. Я ближе притиснулся к матери, взял ее руку. Она крепко сжала мою, и я ощутил дрожь ее тела. Тогда я понял: Матвей не вернется.

Баркасы подвалили.

Рыбаки сходили прямо в воду и выдавливали в песке ямки своими грубыми сапогами. На песок полетели весла. Гребцы разжали кулаки, опустили руки в воду. На ладонях кровь, ссадины. Ногти обломаны, и, кажется, стерты твердые, как кости, мозоли. Лица измучены. Провалились глаза, окаймленные темными кругами.

Приход рыбаков не вызвал обычного оживления. Молчала толпа, молчал ватажек, присевший на камень с кисетом в руках, молчали рыбаки. Не радовали брошенные на камни дельфины. Камбалы, плоские одноглазые странные рыбы, будто разрезанные надвое, лежали на дне баркасов навалом, как балласт.

Стенька Лелюков посмотрел исподлобья на ватажка, снял со своей «Мусульманки» мешок раскисшего хлеба, бросил на песок. Принюхиваясь, подошли собаки. Стенька ударил нашего Лоскута носком сапога, и тот, не огрызнувшись, отошел, лег у ног отца, положив на его мокрый юхтовый сапог желтую, в подпалинах, лапу.

Мать отвела мою руку и подошла к отцу. Он поднял на нее тяжелые, опухшие веки. Мать смотрела на отца с надеждой. Мне захотелось кинуться к ней, прижаться щекой к ее шершавым, обветренным рукам.

Илюшка чертил пальцем по песку, не поднимая головы, словно и он чувствовал свою ответственность перед матерью. Ватажка не спрашивают. Жены рыбаков «Медузы» молча отступили отца, прижав руки к груди, точно удерживая готовый вырваться крик.

А море сияло под утренним солнцем. Мы называли такое сверканье игрой в жмурки.

Мать подняла свои увлажненные черные глаза, полные мольбы и надежды.

– Вернутся, Иван?

Отец отводит взгляд в сторону. От солнца загорелись, словно радужные камешки, соленые морские брызги на его усах. Мне казалось: на берегу сидит в глубокой неподвижности отлитая из металла статуя, какую я видел в городе. У этой статуи драгоценные усы. Потом мне стало стыдно за эти неуместные сравнения. Отец продолжал молчать. И тогда закричала какая-то женщина. За ней заголосили другие.

Отец поднялся и, тяжело шагая, подошел к ватажку. Тот медленно встал. На лице его тревога. Ему, видимо, хотелось спрятаться от отца, от его гневных глаз, в упор устремленных на него, и от криков женщин, потерявших своих кормильцев.

Отец подошел ближе к Сторокожу, приостановился, что-то тихо сказал, а потом вдруг размахнулся и своим тяжелым кулаком ударил его со всего размаху.

Я не успел протиснуться вперед. Меня оттолкнули люди, бросившиеся к месту происшествия. Мне был виден вновь занесенный кулак отца.

У отца обезображенное гневом лицо. Крупные слезы катились по его щекам. Я закрыл глаза и закричал. Я кричал так, что, кажется, легкие вырвутся наружу. Меня подхватила мать, вытерла слезы. Я ощущал шершавые ладони на своем лице. Опять мне хотелось прильнуть к ним губами.

Чувство стыда за свои слезы, за крик привели меня в чувство. Внимание всех обращено на меня. Я не мог объяснить этим людям всего, что произошло в моей детской душе – вчерашний мрачный закат, коловорот волн, унесший моего брата, тропический дождь и огненные потоки на листьях бананов и пальм... Я не мог объяснить, как страшно впервые увидеть своего отца в таком гневе и слезы на его лице.

Может быть, меня понял Стенька Лелюков. Он стоял, прислонившись спиной к баркасу, с небрежно откинутой по борту рукой и глядел на меня дружелюбно, будто впервые заметил меня: ишь, мол, какое ты насекомое!

– Лагунов прав, – сказал Лелюков, – не он, так я побил бы Сторокожа. Мы могли бы спасти «Медузу». Но решить должен один, хозяин в море – ватажек. А что сказал Сторокож: «Пусть поколобродит один в море Никола. Пускай поймет, что такое ватага». Учить Николу можно, но только, как мне, Лелюкову, кажется, не тем моментом, когда, посчитать, все лохматые черти приходят по твою грешную душу. Никола оторвался от ватаги, и ватага должна была наказывать его на берегу. Только не смертью. Прав сто раз Лагунов. Его кулак – мой кулак! Не вынырнет теперь Никола никогда. Жалко Матюшу... Хороший мог бы с него выйти рыбак...

Вечером тихо плескалось море. Оно ласкалось у ног, будто вымаливая пощаду за свое злодейство. Сегодня никто не заплывал далеко, держались близ берега. Не было слышно обычного смеха. На гальке лежали выброшенные волной и умершие от солнца медузы. Мне казалось, что это остатки баркаса Николы, превращенного морем в студенистую бесформенную массу.

Глава вторая. Прощай, море

Поиски «Медузы» окончились впустую. Море не выбросило ни одной щепы. Но мне казалось, что Матвей жив и где-то спрятался. Вот-вот он выскочит из зарослей ажины, толкнет меня в бок и крикнет по своему обычаю: «Догоняй, турок!»

На третий день к нам в дом пришли гости-рыбаки. С ними был Лелюков. Мать накрыла на стол. Рыбаки выставили принесенные с собой бутылки с местным кислым вином. Угощение проходило без обычного разгульного шума. Так всегда бывает на поминках. При уходе Лелюков задержался возле отца и предложил ему принять ватагу вместо Сторокожа, которому после гибели «Медузы» не приличествует быть ватажком. Он говорил, что теперь не будет опасно заходить в открытое море; приезжали из города, обещали прислать моторные баркасы. На побережье впервые создавались рыболовецкие колхозы, и рыбаки просили моего отца хорошенько подумать.

– Я не пушу его в море, – сказала мать, – не пушу детей.

– Ну что ж, случаются и несчастья, – ответил ей Лелюков. – Во все времена тонули рыбаки и разбивало штормом баркасы. Не так уж позорно помереть настоящему рыбаку в море.

Лелюков старался убедить мать.

– Мы ушли от земли, – сказала мать, – нас наказала земля.

– Что ты скажешь, Иван Тихонович? – спросил Лелюков.

– Дам ответ через две недели.

– Добро. Как раз подойдут моторки. Мы не торопим тебя с ответом. Понимаем твою горе.

После ухода Лелюкова мать сказала отцу:

– Я хочу уйти от моря.

– Не будем решать это сегодня, – ответил отец.

Ночью меня разбудили звуки гармошки. Последнее время отец редко вытаскивал ее из сундучка. Это была заветная гармоника, спутница отца и в империалистическую и в Гражданскую войну. Побывала она вместе с ним на румынском фронте, на Украине, отступала с отцом к Царицыну, прошла Жутов мост, слушали ее Пархоменко, Коля Руднев, в честь кого отец назвал свой баркас. Слушал ее певучие лады и луганский сказочный герой, слушал командир бронепоезда, на котором служил отец, известный Алябьев. Многие хорошие люди заказывали любезные их сердцу песни.

Той ночью, когда, мне казалось, где-то близко носился призрачный баркас «Медуза», холодело на сердце от печальных звуков гармоника и песни отца. Он напевал в треть голоса какую-то новую, неизвестную мне песню. Впоследствии она всегда нагнетала на меня тоску, и если я не мог запретить ее петь, то уходил так далеко, чтобы не слышать ее. Это была песня про неизвестное мне тогда дерево – рябину: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?»

Луна освещала нашу комнату, буковые кровати, стены, увешанные крючьями и металлической рыбацкой снастью. Тени от окон, как решетки, лежали на холодно освещенной веранде. Кричали шакалы, а мне чудился где-то вблизи голос Матвея. Мать поднялась, подошла ко мне, опустилась на колени.

Я не мог уснуть. Мать попросила, и отец отложил прочь гармошку.

На следующий день отец достал из сундучка орден Красного Знамени, потер его суконкой и, подложив под него красный бант, привинтил к военной рубашке. Потом он взял со стола краюху хлеба, брынзу, завернул в кусок старого паруса. Посидев минуту молча всей семьей, встали. Отец простился с нами, взял палку и пошел к перевалу. Мать провожала его до ущелья. Вернувшись, она сказала нам, что отец ушел на Кубань, чтобы определиться там на житье.

Был 1929 год. С больших земель начали изгонять кулаков. Отец хотел применить там свои силы. Жить на побережье становилось все хуже и хуже. Удобной земли здесь не было.

Рыба? Известно всем, какова рыба в Черном море. Если в Керченском проливе и дельтах рек можно было еще надеяться на улов, то в этих местах, доступных шторму, с крутым покато морского дна и большими глубинами, приходилось рассчитывать только на открытое море. Конечно, отец никогда бы не решился идти на Кубань в другое время. Что там делать без лошади и плуга? Много ли наворочаешь одними голыми руками? Разве батрачить. А семья? Отец пошел искать нового счастья на Кубань, где создавались артели по коллективной обработке земли, куда обещали прислать тракторы. Отец приохотился к механизмам на бронепоезде, а перед этим служил на броневых автомобилях. Тракторы же, по рассказам людей, были легче в управлении, чем автомобили. Об их работе рассказывали чудеса. Тракторы заменяли лошадей, волов, могли легко поднимать твердые залети.

Через девять дней вернулся отец. Путешествие его увенчалось успехом. Это можно было легко узнать по его подобрешшему лицу. Усы были завернуты кверху, как в лучшие дни. Я быстро стащил с его ног высокие сапоги, покрытые слоем пыли. Отец осмотрел подошвы, покачал головой: «Пожег о камни. Кременная дорога по перевалу. Ничего, Серега, схватим новые».

Пока мать накрывала на стол, он сходил вместе с нами к морю. Отец плавал саженкой, фыркал, нырял, кружил кулаком по воде так, что ходили волны... Сегодня мы могли прыгать в море с его широких плеч. Он стоял, крепко упершись в дно ногами. Мы влезали к нему на спину, и отец пригибал голову так, что свисал намокший темный чуб, и командовал: «Прыгай!» Изредка он, забывшись, смотрел в далекую синеву моря, и лицо его как бы окутывалось туманом. Я понимал, что отец вспоминал погибшего Матюшку. И вдруг отец, выйдя из минутного оцепенения, снова ударил кулаком по воде, нырнул, схватил меня за ноги, бросил на волну...

Подошел Лелюков и уставился на отца своим быковатым взглядом.

– Придется тебе начинать артель, Стенька, – сказал отец, не дожидаясь вопроса.

Золотистые руки Лелюкова пробежали по камешкам. Он искоса посмотрел на отца серыми, навывкате, глазами, в которых всегда держалась не то усмешка, не то недоверие.

– А ты?

– Уйду на Кубань, Стенька.

– Не прошибешь, Иван Тихонович?

– Думаю, не прошибу. Да и не в выгоде дело.

– А в чем?

– В жизни, Стенька.

– Как это в жизни? А тут помираешь, что ли?

– А тебе, может, и не понять, Стенька.

– Расскажи, может быть, осилю дурной своей башкой.

– Воевал я в гражданку, как зверь, – сказал отец, – добивался лучшей жизни. Кончилась война, пришел сюда, заманили. Вижу, мало здесь-то изменилось. Как получал Антон Сторокож долю с рыбаков до войны, так и осталась эта доля, только под другим компотом. Баркасы от него ушли и не ушли. Позволит он назвать свой баркас по-новому – «Колей Рудневым» – и на то концы...

– Так... – Стенька раздумчиво чертил палочкой по песку. – И дальше, Иван Тихонович?

– А дальше что? Расскажу. Пришел я ходоком от своей совести на Кубань. Потянуло меня снова к земле, Лелюков. Вижу, саботаж.

– Саботаж?

– Да, Лелюков. Хлеб в закромах у кулаков – не продают. Земли в наделах – не пашут. Лежит. Земли не дышат. Заросли под колокольню будяком, гуньбой, осотом. Какие земли!

– Взять их нечем будет, – сказал Стенька.

– Возьмем.

– Чем?

– Тракторами.

- Значит, решил строго уходить? – спросил еще раз Лелюков.
- Строго решил уходить.
- А дом кому?
- Хозяину. Ведь сам знаешь, квартирант я.
- А кто же теперь сменит Антона?
- Сами разберитесь, решите.
- Антон подговаривает, чтобы опять ему быть ватажком артели.
- Иди против, – посоветовал отец.
- Один в поле не воин, а ты уходишь.
- Пока Сторокож, не уйду. Схожу завтра в ячейку, приведу человека.
- Вот это ладно.
- А артель придется тебе принимать, Стенька.
- Видно будет, – уклончиво ответил Лелюков и, пожав отцу руку, ушел.

Отец выполнил свое обещание. С детства родители приучали нас примером своим к строгому выполнению данного слова. Это очень помогало нам в жизни. С отцом приехал человек, присланный партийной ячейкой. Из его разговоров со старшими мы узнали, что наш гость служил минером на миноносце «Керчь», который участвовал в выполнении приказа Владимира Ильича Ленина в 1918 году. Миноносец торпедировал крупные военные корабли Черноморского флота в Цемесской бухте, чтобы не отдать эскадру в руки немцам. Исторический миноносец был затоплен самим экипажем в районе Туапсе.

У двух коммунистов – минера с «Керчи» и бойца бронепоезда, защищавшего Царицын, – были общие интересы и взаимное понимание. Стронский – такова была фамилия минера с «Керчи» – производил впечатление решительного, смелого человека.

Худой, лысоватый, с татуировкой на крепких руках, в пиджаке, похожем на бушлат, Стронский даже внешностью не отличался от рыбаков, пришедших на шумный сбор ватаги.

Собрание проходило в рыбном сарае, на берегу моря, Стронский горячо говорил о новой жизни, которая начнется в недалеком будущем на нашем берегу.

Бывший минер умело договорился с рыбаками. Антон Сторокож выступил смиренно, как будто охотно подчиняясь общей воле.

Председателем нового рыболовецкого колхоза был избран Стенька Лелюков.

Я помню, как уезжал от нас Стронский. Он задушевно говорил с отцом, быстро покуривая тонкую дешевую папироску. На лице Стронского выражались удовлетворение и одновременно какая-то тревога, будто, окончив успешно один бой, он уже думал о следующем сражении и поэтому не мог быть до конца спокойным. Кто знал тогда, что много лет спустя снова скрестятся пути минера с «Керчи» и мальчишки, жадно слушавшего каждое его слово.

А примерно через неделю к нашему водоплеску подошли первые две, присланные Стронским, моторки. Это были добрые баркасы – «Завет Ильича» и «Боец коммунизма». Автомобильные моторы, прикрытые деревянными, обитыми по сшивам латунию капотами, стояли в трюмной, кормовой части баркасов.

Сотни рыбаков приветствовали появление этих двух моторок.

Появись такие суда чуточку раньше, разве погибла бы «Медуза»? Разве прихватило бы штормом отважного Николу? Разве не бегал бы сейчас по прибрежным камням мой старший брат?

Прощай, море! Прощай, наш плот, сшитый ржавыми гвоздями, – он заменял нам индейскую пирогу. Прощай, пампасная трава, – ее заросли служили нам шатрами. Правда, этой травой можно до кости порезать пальцы. Но мы умели обращаться с тонкими, зубчатыми ее побегами. Мы не знали еще, какие растения за перевалом. Нам казалось, что, конечно, больше не увидим пахучей, посыпанной желтой пудрой мимозы, не будет розовых цветочков персидской

акации, похожих на только что вылупившихся птенчиков. А увидим ли мы там листья магнолии, словно вырезанные из жести, и ее крупные цветы, будто отмятые из стеарина?

Бури рассыпались по хребту, засыпали снегом горы почти до подошв, но не приходили к нам, в долину. Мы всегда с тревогой наблюдали, как вырываются из-за огромных вершин седые, разозленные препоной тучи, как испуганно улетают оттуда птичьи стаи и переводят дух только в нашей приморской долине. Осенью море покрывается птичьим разноплеменным базаром. Мы всегда приветствовали эту веселую осень.

Мне никогда не приходилось переступить границу гор. Я не знал, что делается на той стороне. Я не слышал слов: «коньки», «лыжи», «валенки». Кубань представлялась нам просторной степью, покрытой высокой травой, над ней много коршунов и орлов, по траве скачут всадники в бурках, в овечьих шапках, с саблями и ружьями.

У молдаван-виноградарей отец нанял повозку с тормозами и сильных лошадей, приученных к горной езде. Молдаване дали нам возницу. Он должен был привезти обратно фуру, грузную зерном, которое было на Кубани дешевле.

Путь предстоял долгий. Отец нарезал буковых жердей, запарил их и согнул над повозкой. Каркас обтянул парусиной. Получился отличный фургон.

Вечером, накануне отъезда, отец позвал меня с Ильей и пошел на берег моря. Мы несли кирку, канат, два зубила, молоток. На берегу нас встретил Лелюков и рассказал о богатом утреннем улове на моторных судах: «Так ловко сыпали сети...»

Отец молча выслушал Лелюкова и подошел к «Коле Рудневу». Баркас стоял на катках, на выносной зоне. Невдалеке несколько рыбаков с «Капитанской дочки» готовили вар, чтобы про-smолить ее расшатанные штормом бортовые швы. Поздоровавшись с рыбаками, отец обмакнул принесенный нами квач в смолу и провел им несколько раз по наружной стороне кормы «Коли Руднева». Так обычно делали рыбаки, прощаясь со своим судном. Теперь все, в том числе и Лелюков, поняли, что Иван Лагунов уже не вернется к баркасу.

Молча проводил нас Стенька до русла безыменного протока и незаметно отстал. За руслом реки к морю выходили высокие, напоминавшие паруса скалы туфогенных сланцев. Эти скалы называли Черные паруса. Об их подножие в штормы бились волны. Буруны выбили в подошве причудливые пещерки, куда не доплыть, не пройти лодкой, не достигнуть берегом. Черные, покрытые осклизлым мохом скалы при ветре гудели, как трубы.

Мы подошли к Черным парусам. До заката оставалось часа полтора. Отец внимательно осматривался вокруг. Его взгляд прошелся по подножию, по пещерам, по вершине скалы.

– Придется брать сверху, – сказал он.

Я не догадывался, зачем отец привел нас сюда. Отец не был пустым человеком. Зачем бы ему таскать с собой кирку, молоток, зубила, полбухты каната?

– Ты побудешь здесь, Серега, – сказал отец, – а мы с Ильей постараемся достать сверху.

Отец и Илюшка полезли на скалу. Вскоре я увидел их фигуры на самой вершине. Они резко выделялись на фоне светло-голубого неба.

Затем отец укрепил на вершине канат и начал осторожно спускаться. Скала была выше церковной колокольни. Я надеялся на силу и ловкость отца. Конечно, начатое дело он безусловно закончит. Но что он задумал?

Отец медленно опускался спиной к морю, упираясь ногами в стенку. Руками он регулировал спуск. Только один раз при проходе через косую щель, в центре разрезавшую скалу, я поймал мимолетный взгляд отца, скользнувший по мне. Уже было вытравлено почти полбухты каната. Отец висел как раз на середине Черных парусов. Вытянув руки, он что-то крикнул Илюшке. Тот нагнулся и что-то ответил.

Теперь отец уперся ногами и, откинув корпус, стал бить киркой по скале. В воду полетели осколки камней. «Неужели в Черных парусах хранились известные только отцу клады?» – думал я. Любопытство мое было распалено. Мне хотелось пробраться к Илюшке. Вряд ли

Илюшка, даже при скрытности своего характера, не поделился бы тайной. Но как же я мог уйти, если отец приказал мне дожидаться на месте! Я не мог его послушаться и продолжал наблюдать. Отец долго работал киркой. Время я определял по отдаленным звукам рынды морпоста, отбивающей склянки.

Наконец кирка перестала стучать. Последний камешек булькнул у горла пещеры. Теперь застучал молоток, ритмично ударяя по зубилу. С ближайшего лова шли рыбаки. Сюда доносилась их песня, широкая и просторная, как море, и тоскливая, как осенний ветер. Тихо ложились в воду весла. Чайки, священные птицы моряков, в поисках пищи низко, почти касаясь крыльями моря, как бы приветствовали приход рыбацкого каравана. От солнца, спускающегося к горизонту, ложился сверкающий след. Казалось, какой-то могучий морской властелин огромными ручищами перебирал червонцы.

В море выходили сторожевые корабли, маленькие, тонкие, с такими же тоненькими пушечками на палубах. Игрушечными казались издалека и эти корабли, и пушки, и неподвижно застывшие фигурки краснофлотцев, начинавших свою ночную пограничную вахту.

Еще долго молоток стучал по скале. С моря потянуло теплом, с суши – прохладой. Запилили первые ночные цикады. Мне становилось не по себе. Присев на камень, я поджал под себя босые ноги.

И вдруг кто-то обхватил мои плечи. Я вздрогнул. Возле меня стояли отец и Илья, нагруженные канатом. На одежде и руках отца сохранились следы каменной пыли. Кровоточила ссадина на кисти левой руки, вероятно, расшиб при неудачном ударе по зубилу. Но, несмотря на любопытство, я не задал ни одного вопроса. Когда мы шли к дому, отец, раздвигая кусты ежевики, нагнулся ко мне и поцеловал. Это случалось редко.

– Скажи, папа, – тихо спросил я, – что вы с Илюшей делали на черной скале?

Отец ответил не сразу. Еще несколько шагов мы шли с ним бок о бок. В пути он приминал ладонью мои курчавые волосы, жесткие, как проволока, от соли и солнца.

– Мы попрощались с Матюшей, – ответил отец.

– Только вы? А я?

– Нет. Все мы, трое. Завтра туда придет прощаться мама.

– Что же ты рубил на скале?

– Слова, какие бывают на дорогой могиле.

Он больше ничего не сказал. В дальнейшем, когда я вырос и стал умнее, мне стало понятно, что отец никогда не мог простить себе гибели сына. Ведь мать же просила оставить детей дома. Отец не мог забыть, что он разъединил сыновей, отдав Матвея на ветхий баркас, из-за жадности ватажка выпущенный в открытое море.

...На зорьке еще темно в нашей долине. Солнце идет к нам с Кубани, а горы мешают ему. На заре горы с нашей стороны обычно так темны, что не разобрать даже деревьев. А гребни, будто вырезанные из картона, подсвечены с обратной стороны червонным пламенем восходящего солнца.

Так запомнилось мне то прощальное росистое утро. Мы шли с матерью и сестренкой к Черным парусам. Не совсем проснувшись Анечка хмурилась, кривила губы. Она не понимала, почему ее так рано подняли. Я же сгорал от нетерпения. Мы достигли моря и скал в тот момент, когда только первые лучи солнца вырвались из-за хребта. И при этом щедром их свете я прочитал на скале вырубленную отцом надпись:

МАТВЕЙ ЛАГУНОВ

1918–1929

Сталинград – Черное море

Глава третья. На привале

Фургон миновал долину, начался подъем в гору. Позади остались домики молдаванского села, поле семенной капусты, заваленное кочанами, плантации цветущих Табаков.

Наш возница Мосей Сухомлин вышагивал рядом с фургоном. Однообразный цокот кованых копыт действовал усыпляюще. В фургоне сидели мать, Аня и младший брат Коля. Сестра вполголоса разговаривала с куклами. Коля грыз яблоко. Отец, Илюша и я шагали по дороге. Весь подъем на перевал решено было пройти пешком, чтобы не утомлять лошадей. Дорога начала делать петли. Море, лежавшее в полном штиле, появлялось то справа, то слева. И, наконец, оно исчезло. Я ожидал, что оно появится за вторым поворотом снова, и оборачивался назад, чтобы увидеть хотя бы тот последний виденный мною голубой треугольник воды. Напоминая о нашей долине, еще торчали верхушки кипарисов. Потом исчезли и они...

Возница Сухомлин затянул молдаванскую песню, – в ней много неизбыточной тоски. Ее слова были неизвестны мне. Мать открыла глаза, прислушалась к песне и снова спряталась в глубину фургона. Мы видели ее вздрагивающие плечи и косы, завязанные на затылке. Отец догнал Сухомлина и что-то тихо ему сказал. Возница запел другую песню, но в ней тоже было мало радости. Таким, в сопровождении унылых молдаванских напевов, запомнился мне путь к новой жизни.

Дорога шла вдоль ущелья. Внизу текла река. Чем дальше в горы, тем сильнее слышался ее шум. К концу дня река шумела на большой глубине, как море в средний прибой или как лиственный лес при ровном сильном ветре.

Горы поднимались все выше и выше. Ущелье отвесно рассекло горы. Скалы нависали над нами. Где-то высоко синело небо. Солнце изредка бросало нам свой луч. Идти становилось труднее, хотя шоссе, казалось, шло без всяких подъемов, они скрашивались зигзагами поворотов.

Я решил притвориться безумно уставшим: склонил голову, свесил руки, будто на чучеле, начал прихрамывать, отставать.

– Ты чего волочишься, как побитый камнем? – строго спросил меня Илюша.

– А тебе что?

– Хитроват ты, вот что...

– А тебе что?

Мать, услышав нашу перебранку, сошла на ходу с повозки, посадила меня в фургон, а сама пошла пешком. Я прислонился к сестренке и заснул. Меня недружелюбно растолкал Илюшка, прервав глубокий сон, наполненный битвами с какими-то чудовищами у Черных парусов. Я обругал брата. Илюшка сверкнул на меня своими черными, материнскими глазами и укоризненно сказал:

– Мама шла пешком больше десяти километров.

Я торопливо спрыгнул на землю.

Перед нами лежала просторная долина. На цветущих столетних липах копошились чернотелые горные пчелы. Бешеная река вливалась в ущелье. За рекой поднимались грабовые, дубовые, пихтовые леса, освещенные заходящим солнцем. Визжал лесопильный завод. Кучи опилок казались ворохами ячменного зерна. В стороне от завода, на покатых склонах, я рассмотрел кочевые пасеки с сотнями ульев.

Скоро распрягли лошадей и разожгли щедрый костер. Пихта поднимала высокое пламя, трещала, стреляла во все стороны. Мать готовилась варить ужин. Мне хотелось искупить свою вину, помочь ей. Я подошел к ней, но делать уже было нечего. Илюша сходил к ключу за водой, принес доску для резки овощей, из диких камней сложил очаг. Ни тени упрека я не прочитал в добрых глазах матери. И поэтому мне стало еще тяжелей.

Отец беседовал с возчиком. Горбоносый высокий молдаванин внимательно слушал его. Сухомлину было немного больше двадцати лет. Он был уже женат, имел ребенка и думал осенью отделяться от отца. Синяя, выцветшая рубаха молдаванина была расстегнута. Вместо сапог на его ногах были постолы из свиной кожи, стянутые по щиколотке ремешком. У широкого пояса, украшенного дешевым металлическим набором, висел нож в ножнах. Соломенная шляпа его лежала поодаль. Он сбрызнул ее водой, чтобы предохранить от искр, разбрасываемых горевшей пихтой. Под кожаным поясом прибрежные молдаване обычно хранили деньги. Я знал, что у Сухомлина есть деньги, приготовленные для покупки зерна: в одном месте пояс оттопыривался.

Собственно, мне было безразлично, где находятся у возчика деньги. Этот вопрос занимал меня только по одной причине: я боялся, не проведали ли об этом разбойники, которых, по моему убеждению, было в этих горах множество, как дельфинов в Черном море.

Мне хотелось, чтобы взрослые разговаривали об ожидавших нас опасностях и принимали необходимые меры. К моему сожалению, разговор был мирным. Молдаванин думал прихватить за перевалом пшеницы не только на отцову, но и на свою долю. Он жаловался, что его отец будет прижимать при разделе и, отделившись, придется первый год хлебнуть лиха. Хлеб привозили на побережье с Кубани, и он исчезал на рынках. Ходили слухи – следующий год будет еще хуже. На Кубани якобы казаки решили сеять хлеб только для себя, не продавать ни одного пуда. «Что же будет с нами?» – сетовал молдаванин и с надеждой смотрел на отца, на орден, игравший красными бликами.

Отец говорил о том, как в 1918 году иностранные государства окружили Советскую республику и решили одолеть ее войной, уморить голодом. Коммунистическая партия взяла в руки оборону государства, и страна отбилась от врагов. Тогда враги революции спрятали хлеб. Даже сам Ленин получал в то время хлебный паек в четверть фунта. Отец говорил, как к ним на Царицынский фронт прибыл друг Ленина, – он сумел отстоять Царицын, собрать хлеб на юге и спасти от голода население городов. Зная по портретам лицо Сталина, я представил себе, как он ходил по улицам волжского города, по окопам, поднимался в бронепоезд...

Огненное кольцо блокады вокруг молодой республики я представлял себе, как огромный круг пылающих костров.

По словам отца, история повторялась. Враг стал более хитер, более неуловим, более невидим и не менее опасен. Это был внутренний враг. Он окружил тысячу колец нуждающегося в хлебе население. Какие-то страшные, уже не огненные, а похожие на свернувшегося желтопуза круги сжимались и сжимались. И вряд ли можно рассечь этих чудовищ вот таким, как у возницы, ножом.

Отец говорил, что после смерти Ленина страной руководит его великий соратник. За ним можно идти в любой огонь, на какие угодно препятствия. Выведет! Он пришлет тракторы, и они раздавят всех желтопузов.

Отец ехал на Кубань, как на фронт. Он не ожидал там спокойной жизни. Его не пугали опасности борьбы во имя тех идей, за которые он сражался в молодости. Сильные отцовские руки, разбивающие о камень пихтовые поленья, могли очень пригодиться в предстоящей схватке.

Молдаванин спросил:

– Кто же повернет жизнь? Коммуны?

– Колхоз, – сказал отец с такой же гордостью, с какой произносил он слова «полк», «дивизия».

Чем же я мог помочь отцу в его новых, боевых заботах? На море я научился отлично плавать, грести легким полувеслом, ставить паруса, разбираться в ветрах. Я начал учиться читать и писать, меня влекла к себе мудрость людей, скрытая в книгах.

Звездная ночь пришла в горы. Сразу упала роса. Гремели камнями, боролись две буйные горные речки.

После ужина я сам вызвался помочь матери: перемыл посуду, вычистил до блеска медную кастрюлю, принес воды из потока.

Илюшка посмеивался. Он считал, что его насмешки подействовали на меня. Он ошибался: мне хотелось, чтобы мое усердие видел человек, сумевший прогнать царя, победить всех врагов.

Глава четвертая. Конечный пункт фургона

Наконец наш фургон перевалил хребет и мы очутились в кубанском предгорье.

Измученные тяжелой кладью лошаденки устало вышагивали последние километры пути.

По обеим сторонам дороги стояли подсолнухи в последнем своем цвете, подламывались налитые зерном кукурузные початки. Так же как и в молдаванском селе, цвели высокие табаки. Изредка встречались бахчи, обсаженные веничным просом. Тогда еще не было широких колхозных нив. Каждый отгораживался от соседей со всех четырех сторон либо просом, либо кукурузой, либо высоким, как забор, тростником – сорго. Прислушиваясь к разговорам старших, я вместе с ними обращал внимание на незапаханные наделы, покрытые сорными травами – амброзией, повиликой, осотом. Скошенный вручную хлеб лежал в почерневших копнах. Кое-где работали молотилки.

Выехав на большой Краснодарский тракт, мы свернули влево. Только что горы находились позади нас, и снова лошади, помахивая гривами, везли наш фургон опять к горам. Если сравнить хребет с огромной дугой, то от западного ее основания мы перебирались к восточному. Горы, предохранявшие наш рыбацкий поселок от восточных ветров, теперь были перед глазами. Вот откуда испуганно удирали птичьи базары! Равнина, пересеченная каньонами, вплотную подошла к невысокому хребту, подрезанному у подножия горной рекой. Широкая и прямая, как развернутый холст, степная дорога упиралась в горы. Куда вела дорога дальше, пока не было известно. Может быть, там и кончалась? Может быть, опять вела к другому неизвестному мне перевалу?

Вскоре я различил в темных волнах курчавых лиственных лесов белостенные домики, разбросанные и на взгорье и у подножия. Эти белые домики невольно напоминали мне стаю уставших чаек, спустившихся отдохнуть на волны. Горячий ветер и струйчатое подрагивание миражей усиливали это сравнение, и мое детское сердце готово было полюбить эти новые места, где мне было суждено жить, горевать и радоваться.

Пирамидальные тополя по обеим сторонам въезда напоминали кипарисы. Ну что ж, почти ничего не изменилось...

– Это станица Псекупская, – сказал отец.

Мать внимательно и тревожно осматривалась вокруг.

– Как здесь с топливом? – спросила она.

– Топливо есть, – отец обводил рукой лесистые горы. – Лишь бы топор в руки.

– А вода?

– Родники. Можно вырыть колодец. Здесь срубы выкладывают речным камнем.

– А картофель родит?

– Еще как.

– Близко школа?

– Построимся рядом со школой, – отец подмигнул мне. – А тебе, Сергей, кроме школы, припасена река. Плавай и ныряй...

– А рыба?

– Я не люблю рыбу, – вмешалась Аня.

– Есть и рыба, если только она еще не въелась тебе в печенки, Аня.

– Я хочу жареной печенки, – сказала сестренка.

Мы въехали в станицу. Деревянный мостик с окрашенными охрой перилами простучал под копытами лошадей. Все привлекало мое внимание. Улица была широкая, рассеченная надвое хорошо отделанной грейдерами дорогой.

Белые домики прятались в тени яблоневых и грушевых садов. На улицу выходили частоколы из узко нарезанной дубовой планки – штакета. Заборы были одинаковой высоты; их ров-

ная линия начиналась с окраины у тополевой аллеи и кончалась возле каменных зданий, расположенных в огороженном парке. На воротах парка по фанерному подбою было написано масляной краской: «Добро пожаловать!»

О том, что приглашение относилось не к нам, я догадался потому, что нас с фургоном не пустили даже близко к воротам. У калитки парка стояла сторожиха с палкой. Тополевая аллея тянулась через весь парк. В пролетах деревьев я увидел гору с ровно скошенными краями, заросшими темным лесом. После я узнал, что каменные здания и парк принадлежат курорту, а дальше к реке, от ванных зданий, где лечатся больные, текут серные ключи.

– Вы подождите здесь, а я разыщу Устина Анисимовича, – сказал отец.

– Иди, – сказала мать.

Отец быстро пошел к калитке, что-то сказал женщине с палкой, и она его пропустила.

Мать поглядела вслед отцу, вздохнула. Я понимал ее состояние. Мне тоже было не по себе. Мы приехали в чужое, неизвестное место. Нам негде было пока остановиться, негде умыться.

Пока отец искал Устина Анисимовича, мы подошли к памятнику Ленину, стоявшему среди цветочных клумб. Правая рука Ленина протянута в сторону кубанской степи. В левой руке зажата кепка. Цоколь памятника сделан из цельной гранитной глыбы.

– Как называются такие цветочки? – спросила Аня, показывая на клумбу.

– Не знаю, – ответил Илюша, внимательно глядевший на памятник.

– Я сорву один, понюхаю!

– Я тебе сорву, – не глядя на нее, сказал Илюша.

– Они так пахнут! – Аня потянула носом и выразила удовольствие на своем запыленном личике.

– Свиная ты печенка! – подразнил я ее.

– Я скажу маме. Обязательно скажу... Я знаю, кто это, – она подняла палец к памятнику.

– Кто? – Илюша посмотрел на нее с любовью.

– Дедушка Ленин, – сказала Аня.

– Знаешь, – похвалил ее Илюша. – Молодец, курногая.

– Почему у меня такие братики, – Аня скривила губы по своей привычке, позаимствованной у одной девчонки еще в рыбацком поселке: – один дразнит свиная печенка, второй – курногая? Папа, папа идет!

Аня побежала навстречу отцу. Он шел с каким-то человеком, одетым в белую рубашку навыпуск, с черным галстуком из тонкой шелковой ленточки, со шляпой в руках. Незнакомец обрадованно улыбался и, ускоряя шаги, еще издали помахал маме шляпой. Я догадался, что это и есть доктор Устин Анисимович.

Устину Анисимовичу тогда было около пятидесяти лет. Еще держались на его голове редковатые, скобкой подстриженные длинные волосы, еще достаточно живости было в движениях и приветливо блестели светлые внимательные глаза.

Я никогда не видел Устина Анисимовича, но слышал о нем много. Мне было понятно, почему доктор, протянув руки матери, сказал ей: «Ничего, ничего, что же сделаешь, Тонечка». И мать очутилась в его объятиях. Я слышал о большой дружбе между моими родителями и Устином Анисимовичем еще по Гражданской войне. Устин Анисимович помог матери выбраться из осажденного Черного Яра в Царицын. Доктор был восприимчивым Матвея.

Сейчас, увидев своего старого друга, мать вспомнила все, не могла сдержаться и расплакалась на улице.

Мне тоже было не по себе. Гордый Илюшка, чтобы не показать своего волнения, отвернулся. Аня ревела, хватала мать за юбку, топала ногами.

– Мама, перестань, перестань, я не люблю, когда ты плачешь!

Познакомившись со всеми нами, Устин Анисимович приказал подъезжать к своему дому. Мать пошла с нами за повозкой, отец и Устин Анисимович – впереди.

Вскоре мы свернули влево с главной улицы. Узкая улочка с ухабами, наполненными водой, привела нас к хорошему каменному дому, недавно выбеленному известью. Он был крыт оцинкованным железом и украшен двумя конусными башенками со шпилями, тоже забранными под железную кровлю. Тесно, одна к другой, у забора стояли три огромнейшие белолытки с толстыми стволами и сплетенными между собой вершинами. Одно дерево близко прижималось к дому. Дождевая труба, казалось, держалась на его шершавой коре.

На улицу выходили два крыльца: угловое со ступенями из плитнякового камня – для пациентов, и второе – парадное, засоренное подсолнечной шелухой, с лавочками для сидения и резным навесом. Здесь был домашний ход. Два окна, примыкающие ко второму крыльцу, были завешены изнутри занавесками, а третье, большое окно было наполовину закрыто марлей.

– Мы войдем в калитку, – сказал хозяин, – а вы, дружище, – обратился он к молдаванину, – заезжайте-ка с той стороны, там есть ворота.

Устин Анисимович прошел в калитку, снял засов с ворот и растворил их.

– Заезжайте, – крикнул он молдаванину, – прямо к сараю! Сено и ячмень найдем.

Мы стояли у калитки в нерешительности. Я увидел какую-то девочку, выскочившую из дому на крыльцо. Она приложила ладошку от солнца к своим глазам, таким же светлым, как у Устина Анисимовича, впорхнула в дверь и вернулась с веником в руках. Девочка быстро смахнула шелуху с крыльца и хлопнула дверью.

– Заходите же, заходите, – любезно приглашал Устин Анисимович.

Девочка, подметавшая крыльцо, уже вертелась во дворе. Она непринужденно осмотрела нас с ног, обутых в дорожные постолы, до голов, прикрытых войлочными шляпами, и перевела взгляд на Анюту. Сестренка тоже смотрела на нее.

Девочка успела переодеться в платьице, усыпанное яркими цветами, в носочки с тремя цветными полосками по кругу и в туфельки из удивительно алой и мягкой кожи. Даже луговки на туфельках были не обычные, а из квадратных кусочков перламутра, радужно играющих под солнцем, как морские раковины.

Молдаванин черными, сноровистыми руками отстегнул нагрудники от хомутов, повел лошадей к плетенке из краснотала. По его лицу я видел, что он не завидовал нам, а может быть, и жалел.

К нам хорошо относился Устин Анисимович. Его обширный дом был красив. Мы не стесняли доктора своей большой семьей и не слышали ни одного слова упрека за все время пребывания у него. А скажу по совести, с какой радостью я мог, наконец, заснуть в своем домике, хотя он был и хуже, и меньше, и крыт дранкой, а не железом, – чувство неловкости не оставляло меня в доме доктора. Я не знал, как себя вести, что можно, а что нельзя класть на подоконники, столики и столы, в каком месте счищать грязь с подошв и как держаться при гостях.

Мне становилось не по себе от постоянного шепота матери: «Нельзя! Ты куда?» Мне было жаль маму. Она старалась изо всех сил услуживать жене Устина Анисимовича, нетерпеливой и болезненной женщине. Раздражение хозяйки дома происходило от ее болезней, а не от нашего присутствия. Но мы относили ворчание на свой счет и при ней притихали и дичились.

Я слышал однажды ее жалобы мужу:

– Все для них, кажется, делаю. Я рада твоим друзьям, я так много слышала о них. Но почему они тяготеют моими заботами?

– Поставь себя на их место, – тихо ответил ей Устин Анисимович. – Вот Иван Тихонович обживется в колхозе, построит домик, и мы гостями у него будем. Тогда и Антонина Николаевна повеселеет.

Пока я был свободен, как ветер, и знакомился с живописными окрестностями станицы, заводил новые знакомства. Так произошла моя первая встреча с Виктором Неходой, Яшей Волинским и Пашкой Фесенко.

Это случилось, пожалуй, через месяц после нашего приезда в станицу Псекупскую.

Давно уже уехал молдаванин Мосей Сухомлин, доставший за большие деньги пшеницу. Уже освоился на новом месте мой отец и начал организацию зернового колхоза. Уже было доверено отцу съездить в город и привезти первый трактор. Об этом будет рассказано после.

Глава пятая. Фанагорийцы

В синих трусах, босиком, без картуза, в сопровождении своих верных овчарок я отправился на берег Фанагорийки. Здесь река только-только вышла в долину и потому не успела вымыть глубокое русло. Фанагорийка бежала извивами, подрезая глинища правого берега. На левой стороне тоже поднимался обмытый рыжий берег, и на нем – кривые дубы, белолистки и много павших деревьев с ободранной пастухами корой. Оттуда доносилось позванивание козьего стада и хлопанье бичей. Дело было к вечеру. Пастухи возвращались в станицу.

Несколько мальчишек со смехом и улюлюканьем купали в реке свинью. Бедное животное, судя по его визгу, не чаяло, как вырваться из мальчишеских рук. Молодой пастушонок в соломенной шляпе перегонял бродом двух розовых породистых кабанчиков.

Пастушонок с опаской следил за забавами сверстников. Ему, как видно, были хорошо известны ребята, купавшие свинью, и он не хотел встречаться с ними.

Он постарался побыстрее миновать брод. Кабанчики охотно вошли в воду и, мелко ступая по дну своими копытцами, наискось перешли речку и поднялись на обрывистый правый берег.

Вскоре соломенная шляпа пастуха исчезла за садками.

После переката у брода река разливалась шире, образуя несколько протоков. Вода тихо журчала по камням, обмывая редкие заросли краснотала. Напротив зарослей по колени в воде, с удочкою в руках стоял худенький мальчишка с большими глазами. Он был одет в рваную рубашку и штанишки с помочами. Что-то жалкое было во всех движениях его тщедушного тельца, в частом подергивании штанишек, хотя они прочно висели на помочах. Он пугливо поглядывал в сторону шумной оравы. Было заметно, что мальчик спешит покончить с рыбной ловлей, чтобы избежать заведомой опасности.

Я спустился с обрыва и остановился на покрытых илом камнях.

– Удишь, а вечером чем будешь? – задорно спросил я мальчишку, подражая манере старшего брата.

Очевидно, мое лицо, медное от приморского загара, независимый вид и свирепые овчарки – все это ошеломило мальчика. Он испуганно глядел на меня, и удилице дрожало в его руках. Леску сносило течением.

– Молчишь, тюлька?

– Здесь тюльки нет... не ловится... – пробормотал он.

– А ну-ка, покажи, что ты ловишь в этой луже?

Мальчик положил удилице на воду, прижал конец камнем и покорно направился ко мне.

Собаки заворчали. В нескольких шагах от берега мальчишка приостановился. Вода была чуть повыше его щиколоток. Теперь я заметил тонкую веревочку, привязанную к помочам, и на веревочке несколько рыбок, продетых под жабры. Когда мальчишка остановился, одна из рыбешек перевернулась вверх белым брюшком.

– Чего же ты стоишь, как столб?

– У тебя собаки, – сказал он. – Меня недавно покусали.

– Мои тебя не тронут, – грубо ответил я, чувствуя свое превосходство.

Мальчик вышел на берег. На его лице появилась деланная улыбка. Я почувствовал к нему жалость. Я выбрал одну из рыб и подкинул ее на ладони раз-два. Белое брюшко сверкнуло, как зайчик.

– Как называется?

– Чернопуз.

– Чернопуз? – угрожающе переспросил я.

– Тебя удивляет, что у него белое пузо. Я тоже не верил, – поспешно оправдывался мальчик. – Но это действительно чернопуз.

– А это?

– Головень. Видишь, какая голова. Здесь два головня и четыре чернопуза. Если ты хочешь принести домой рыбы, я тебе отдам. Только подожди, пока я еще наловлю.

Мальчик, по-видимому, привык к обидам. Мне стало стыдно. Принять меня за грабителя! Мне захотелось успокоить мальчика, показать свое благородство. Может быть, его надо защитить!

– Мне не нужна твоя рыба, – сказал я.

– Не нужна? А ты меня позвал...

– Просто интересно... Видишь... я недавно приехал с Черного моря. Привык иметь дело вот с такой водой, – я широко развел руками, – вот с такой глубиной, – мои глаза поднялись к поднебесью, где кругами парил молодой коршунок. – А рыбы! Ты знаешь, что такое белуга? Где тебе знать! А такими вот мы подкармливали чаек...

– Я не знал, что ты приехал оттуда. Конечно, если ты мог ловить таких больших рыб, что тебе мои чернопузы. – Мальчик, поняв, что ему нечего меня бояться, разговорился с жадной словоохотливостью, обычно свойственной впечатлительным, напуганным детям. – Так ты ловил дельфинов? Я тоже недавно поймал вот такую сельявку. Я так и не мог отнести сельявку своему дяде, у которого я живу сейчас. Сельявку отобрали мальчишки. То есть не... отобрали, – мальчишка оглянулся, – я сам поделился с ними. Ведь дядя видел всяких рыб. А знаешь, какой из себя усач? Я ловил и усача на удочку. А есть такая рыба леточка. У нее вот такая голова маленькая, ширококоньякая... Тоже приходилось ловить.

– А бычки водятся?

– Бычки здесь маленькие, головастенькие. Спрячется у камня и не заметишь, камешек ли это лежит мохнатенький, длинненький или бычок. Окунь здесь тоже попадает, пескарь, а весной подходит шамайка метать икру. Вот когда здесь шамайки! Руками бери! А...

Измученная свинья вырвалась наконец-то из жестоких мальчишеских рук и стрелой летела по берегу. По срезу, что вел к броду, поднялась и мгновенно скрылась из наших глаз.

Теперь мальчишки направились в нашу сторону, что-то кричали, размахивали кулаками. Мой новый знакомый прервал свой рассказ, и снова на его повеселевшем личике появилась тревога.

– Витька Нехода, – тихо шептал он, – а с ним Пашка. Фесенко... Пашка... Они обязательно придут сюда.

– Пусть приходят.

Мальчик внимательно оглядел меня, точно сравнивая мои силы с неоднократно им проверенной опасной силой, двигавшейся на нас.

– Ты лучше сделай вид, что незнаком со мной, – быстро сказал он, – я от них откуплюсь... – он мгновенно поправился: – я им подарю... хотя бы всю низку. Хорошо, что я сумел наловить до их прихода кое-что. Я, может быть, еще подсмыкну головня или чернопуза.

Мальчик торопливо вернулся к своей удочке, достал из-за пояса спичечную коробку, вытащил оттуда червяка и насадил его на крючок. Поплевав на червяка, он забросил удочку по течению.

– Почему же без поплавок?

– Без поплавок почему? Здесь же вода тянет. На тихой – с поплавком. Вон там, – он показал в сторону, – с поплавком. – Мальчик осмотрел крючок, покачал головой. – Смыкала, смыкала и бросила. Надо пойти на другое место.

Он, поминутно оглядываясь, прошлепал вверх по воде. Снова засвистело удилище. На худеньком, черномазом лице мальчика застыло напряженное внимание. Еще секунда – и его

тоненькая ручонка дернула удочку на себя, и я увидел просиявшее от удовольствия лицо маленького рыболова.

– Еще чернопуза! – весело воскликнул он. – Пятый!

Его пальцы ловко проткнули палочку под жабры, и рыбешка скользнула вниз по ниточке.

Наша мирная беседа была прервана подходившей оравой. Ребятишки двигались берегом Фанагорийки, бросались камнями и орали веселыми, резкими голосами какие-то стихи. Услышав эти зарифмованные выкрики, мальчик задрожал и побледнел, – вероятно, так дрожали бледнолицые братья, заслышав боевой клич индейцев где-нибудь в истоках Ориноко.

Голые «индейцы» приближались к нам. Лоскут и Мальва поднялись на ноги, оскалились. Я надеялся на их поддержку. Положение же мальчишки-рыболова, очевидно, было безнадежно. Я решил защитить его. «Индейцы» размахивали своими мокрыми штанишками, скрученными жгутами, выкрикивали:

К Яшке гузом мы идем,
Яшке пузо мы проткнем!

– Это я – Яшка, – скорбно заметил мальчик, – а тот впереди – Витька Нехода...

– Выходи из реки, иди ко мне, – скомандовал я.

– Не надо, – взмолился Яша, – ни в коем случае... Ты уйдешь, а мне... с ними встречаться... Мне жить с ними...

– Иди ко мне, – строже приказал я.

– Ты не одолеешь их, – прошептал Яша, опасливо исполняя мое приказание. – Слышишь, они держатся гузом.

Это впервые услышанное мною слово, вероятно, означало кучку или ораву. Но я приготовился не сдаваться.

Мальчишки приблизились. Теперь я мог видеть каждого из них. Витька Нехода был высокий длинноногий мальчишка с коротко остриженной белой головой и заносчивым взглядом. Витька держался вожаком и выкрикивал громче всех: «Яшке пузо мы проткнем!» Он шел впереди и в отличие от остальных был одет в мокрые трусики, прилипшие к его бедрам.

Второй забияка, Пашка Фесенко, уступал Виктору и в росте и в физическом развитии. Пашка был задирой, только чувствуя покровительство сильного. Он уже охрип от крика и больше всех размахивал руками. Нехода шел прямо ровным, уверенным шагом. Пашка носился, как стриж у крыши, подзадоривал ребятишек, хихикал, указывая пальцем то на меня, то на Яшку, сам, однако, не рисковал делать первый шаг.

К броду спустился пожилой казак в расстегнутом бешмете. Он небрежно, охлюпью сидел на саврасом коньке. Вторая лошадь, с мокрыми подпалинами от недавно снятого хомута, плелась позади. Зацокав о гольши, кони вступили в реку, остановились, потянулись к воде. Казак перекинул ногу, бросил в зубы дешевую папироску.

– Коней запалишь, Сучилин, – неодобрительно заметил болезненный старичок в рваной одежде, спустившийся к броду с другого берега реки. – Подхомутина еще не высохла, а ты позволяешь воду.

– Ладно.

– Ладно бы не поить, Сучилин.

– Все едино колхозное теперь добро.

– Уже принялись? – спросил старичок, задрав свою седоватую бороденку.

– Так точно, – казак цокнул на коней и тронул к берегу. Он так небрежно управлял лошадью, что сбился с переката. Кони попали в глубокое место. Всадник приподнял ноги, обутые в мягкие сапожки. – Дожди прошли в горах! Поднакатало водицы!

– Вот я и думаю, – прокричал в ответ старичок, – разуваться, лезть в воду, аль дашь коней – перееду. Неохота в холод ноги.

– Дам коней. А чего же не дать! Только спички-то есть у тебя лишние, коробок?

– Запас несучу в свою полесовку, казак. Найду, чай, коробочек за переправу.

– Завтра трактор показывать будут. Какой-ся Лагунов-партизан покажет чудо-юдо! – так же громко сказал казак, достигнув берега. – Была агитация: за двадцать лошадей тянет... Не верю! Сколько ты жил, встречал такую брехню, а?

– Брехни много попадалось, – откликнулся старик. – А машина, чтобы за двадцать коней ответила?... Умный человек до всего заблагорассудит... Паровики же придумали?

– Паровики придумали, – согласился казак, – так то паровик! Трактор... И слово-то чудное, а?

– А чего же в нем чудного? Арбуз тоже чудное, небось, слово было сначала, а вот едим.

– Арбуз? – Казак засмеялся. – Одичал ты в лесу. Трактор к арбузу приравнял... В станице сутолочь. Комсомолыцы бегают по дворам. В потребиловке все обои на плакаты закупили. Над ячейкой партии кумачи уже вешают. Как Первый май... Ну, стойте вы! – прикрикнул он на лошадей, выскочивших на тот берег. – Жить вам недолго. Пришлют трактора, вас на колбасу.

Казак спрыгнул на землю. Его руки даже не притронулись к лошади. Я не знал, что это признак ловкости. Мне подумалось, что всаднику противно прикасаться к лошадям, ставшим колхозным добром.

Сцена у брода привлекла общее внимание и разрядила накаленную обстановку. А может быть, мальчишки испугались собак? Пашка попробовал было вновь подогреть ребят, он подтолкнул локтем Витьку, крикнул:

К Яшке гузом мы идем!

Витька остановил его, сел на камень и одобрительно оглядел собак.

– Овчарки? – спросил он меня.

– Да.

– Натуральные?

– Да.

– Ладные псюги... Чьи?

– Наши.

– А ты кто? Иван-царевич?

– А тебе зачем?

Витька добродушно улыбнулся.

– А ты не ершишь, – сказал он примирительно. – Никто тебя глотать не собирается. Просто спрашиваю. Не скажешь, сам узнаю... если схочу. Так чьих же ты?

– Лагуновых.

– Лагуновых? – Витька наморщил гармошкой лоб. – Не врешь?

– А мне нет стати.

– Верно, нет стати тебе врать, – согласился Витька. – Я ж не милиционер. Я Виктор Нехода.

– Знаю.

– Меня все знают, – произнес он важно.

– Яшка рассказал. Рассказал, как вы его чернопузов...

Яша уцепился в мой бок, горячо и испуганно зашептал:

– Не надо... не надо... Они меня заставят землю есть...

Витька сделал вид, что не замечает волнения Яшки. Он поднялся, лениво потянулся. Витька был силен. Я чувствовал силу в его мускулах, заигравших над ребрами, у локтевого

сгиба и на предплечье. Мне Витька пришелся по сердцу. Чувствуя, что ему даже при помощи своей оравы не одолеть меня с моими собаками, Витька не допустил своего поражения, свел дело к шутке.

– Витька, а головни? – тихо настаивал Пашка.

Виктор с пренебрежительным великодушием оглядел Яшку.

– Пойдемте! – скомандовал он. – Айда!

Пашка понял поведение жоака по-своему. Он крикливо завел:

К Яшке гузом не пойдём,
Яшке пузо не проткнем!

Витька усмехнулся, повел бровью. Пашка не заметил недовольства жоака, повторил припев. Жоак ударил Пашку по затылку. Ребята пошли вдоль берега. Мы остались снова вдвоем с Яшей.

– Они возвратятся, – шептал он, – не такой Витька, чтобы уступить. Отдать бы им чернопузов и головней. Они меня землю заставляли есть...

– Если что будет, приходи к нам! И я тебе защита и мой отец...

– Не надо, чтобы отец! – взмолился Яшка. – Тогда они меня утопят, как ябеду.

Я начал понимать железные законы берегов горной Фа-нагорийки. Собственно говоря, эти законы повсеместны. Нельзя вмешивать родителей в свои ребяческие дела. Мне хотелось подружиться с Виктором. Кто он? Яша рассказал мне, что Виктор живет бедно. Его мать работает сторожихой в школе. Родители же Фесенко живут посевами табака и доходами с сада.

– Богатый Фесенко? – спросил я.

– Какое там! – ответил Яша. – Пашка одни штаны пять лет уже носит.

Я распростился с Яшкой, пошел к дому Устина Анисимовича. Дорога шла берегом, а потом под прямым углом сворачивала в станицу.

По обочине дороги шли девушки, плохо одетые, босиком. На плечах они несли мешки с орехом-фундуком и ладно пели:

Калинка, малинка, калинка моя,
В саду ягодка, малинка моя...

Этот припев, повторяясь бесконечно, сопровождал меня до самой станицы.

Глава шестая. Первый трактор

Отец возвратился из Краснодара с трактором. Машину осмотрели, почистили, смыли дорожную пыль и поставили под навес во дворе станичного совета.

Отец пришел домой оживленный. Устин Анисимович ранее обычного вернулся с работы и до глубокой ночи проговорил с отцом. Отправляясь спать, Устин Анисимович задушевно сказал:

– А что ты думаешь, Тихонович, в моем-то доме начинается исторический этап?

– Начинается, начинается, – довольным голосом отвечал отец. – Начало сделаем, а там не мы, так дети наши доведут до конца. Жена, приготовь на завтра мой самый лучший костюм.

– Гляди, каким вернулся: машина пачкается, – осторожно сказала мать. – А твой лучший костюм – один, первый и последний.

– Первый – верно, а последний? Еще поглядим! – весело возразил отец. – И приготовь рубаху... Обязательно белую. И знаешь что? Дай-ка мне искупаться! И чистое белье. Праздник так праздник!

Я засыпал в эту ночь в предчувствии чего-то необыкновенного. Илюша сказал мне вечером:

– Ты, конечно, проспишь, салаженок?

Проспать? А мое торжество! Ведь и Виктор Нехода, и Пашка Фесенко, и Яша Волынский должны увидеть меня рядом с первым трактористом – моим отцом.

Молодые мои читатели, откинем мои переживания, порожденные детским тщеславием. Оставим только самое существенное – впечатление от первого трактора. Мне жаль, что вам не придется увидеть и почувствовать того, что пришлось на мою долю. Вы поймете меня и простите, что я вынужден прибегать к подробностям.

Я так много слышал от отца о тракторе, что представлял себе эту машину чуть ли не одушевленным существом.

Поутру я поднялся раньше всех, прошел в столовую и взглянул на стенные часы. Было около шести. Не скрипнув ни половицей, ни дверью, с дрожью в коленях, на цыпочках я выбрался из дому.

Мне представилось зрелище осеннего очарования, хотя стояли только последние дни августа.

Туман затопил соседние сады и колыхался ленивыми клубами, будто подтаивая под лучами невидимого мне солнца. В тумане стучали по дороге колеса повозок, фыркали лошади.

На фоне серой дымки пирамидальные тополя напомнили мне корабли с черными парусами, свернутыми на высоченных мачтах.

Пауки навесили паутину, соединив низкое деревцо сливы с отцветающей мальвой и махровые шапки циний со штaketным забором, Серые толстые нити походили на рыбацью снасть лилипутов.

Желтые гвоздики и кусты золотого шара высоко поднимались над шелковой травкой, придавленной тяжелой росой. Каждый листик был густо усыпан беловатыми холодными каплями воды, еще не выпитыми солнцем.

На соседнем огороде низко клонились корзинки грызового подсолнуха, обмотанного тряпьем от птиц, налетавших из лесу для поживы.

Я прошел к калитке по мокрой траве, испытывая тревогу: кто же рассмотрит первый трактор в таком непроглядном тумане?

Кричал весновик-петушок, приветствуя утро и не находя его своими молодыми круглыми глазами. Из будки вышел Лоскут, вытянулся на передних лапах и подошел ко мне. Он потерся боками о мои ноги и вдруг прыгнул на меня, ударив в грудь грязными лапами.

В тумане по дороге скрипели колеса, шли и ехали люди, разговаривали, перекликались. Держась ближе к заборам, молодые пастушата гнали стадо. Козы шли с величавой важностью, оглядывая все на своем пути умными, прямо-таки человеческими глазами. Козлы-вожаки почуяли собаку, остановились в боевых позах, вытянув шеи и нацелив рослые рога.

– Напусти кобеля! – крикнул мне один из пастушат.

– Зачем же?

Мальчишки засмеялись:

– Враз кишки твоему кобелю выпустят... Как подденет на рога! Интерес!

Стадо скрылось. В отдалении замирали колокольцы.

Вместе с Лоскутом мы пошли по саду. Ветви яблонь, когда-то отягченные плодами и поддерживаемые рогатулями, теперь выпрямились. Лесная груша, оставленная на межнике, окружила по земле свою крону осыпавшимися плодами, а рядом с ней росла черная полынь.

Возле крыльца я увидел силуэт Устина Анисимовича. Он также заметил меня.

– Ты ищешь вчерашний день? – спросил доктор.

Устин Анисимович надвигался на меня из тумана, как великан.

– Отец уже на ногах, хватился тебя, – сказал он, остановившись возле меня.

Поздоровавшись с доктором, я поспешил к дому.

Отец успел умыться и побриться. Он сидел за столом. Перед ним лежала тетрадка. В его руках был карандаш.

– Ну-ка, сколько будет семью восемь? – спросил он, взглянув на меня.

– Семью восемь?...

Мой метод умножения опирался на незыблемые, как гранитные обелиски, назубок выученные ответы: пятью пять – двадцать пять, шестью шесть – тридцать шесть, семью семь – сорок девять. Прежде чем ответить на вопрос, я вызывал на помощь гранитный столб «семью семь – сорок девять», прибавил к нему недостающую семерку и через минуту торжественно выпалил:

– Пятьдесят шесть, папа.

– Ленив. Я уже три задачи решил, Серега... – Отец углубился в расчеты. – Старики в станице дотошные, обязательно спросят, сколько горючего идет на десятину, на запуск, на свой ход на версту... Так... А за сколько времени он возьмет десятину? А как быстрее от коней будет бороновать? А как в посеве? Еще что? Молотить, – а какие расчеты? Какие части быстрее изнашиваются и где их достать? Еще что могут спросить?

Отец не замечал меня, занятый своим делом. Я бесшумно зашел в другую комнату, приоделся и появился перед мамой. Она осталась довольна осмотром моей одежды, намазала для меня пышки сметаной и отпустила.

Илюша, Николай и Анюта тоже приоделись, словно на Первое мая. Вместе с ними, но по-прежнему задорно дичась меня, была Люся.

Горячее августовское солнце расправилось с туманами, освободило травы от тяжестей рос, высушило паутину и порвало ее, раскрыло горы во всей их утренней красоте.

Только над Фанагорийкой текло облако. Казалось, между скалой Спасения и горой Абад-зеха только что прошел пароход, оставивший после себя клубы дыма.

Станичники собирались к памятнику Ленину, где решено было показать трактор, а потом, в сопровождении всех желающих, мой отец должен был повести трактор за станицу, заложить первую борозду на гулявшей под толокой земле.

Площадь была запружена народом. Мальчишки заняли места на крыше клуба и телефонной станции, на ветвях стручковых акаций.

Виктор Нехода и его приятели сидели на крыше в первых рядах, скрестив ноги, и, словно мыши, точили семечки.

Виктор меня узнал и показал своим друзьям, которые продолжали с прежней невозмутимостью лущить подсолнухи.

Возле памятника стояла наспех сколоченная трибуна, обвитая кумачом и цветами. На шестах у трибуны висел лозунг: «Каждый трактор – снаряд по старому быту».

По обеим сторонам трибуны висели еще два кумачовых плаката. Я привожу полностью текст, написанный на этих кумачовых плакатах:

«Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель (Л е н и н)».

Второй лозунг был взят из доклада товарища Сталина на XV партийном съезде:

«Где же выход? Выход – в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств на крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой, высшей техники».

Трактор стоял, блистая свежей краской, палевой по корпусу и красной по шпорчатым колесам.

Бронзовый Ленин вытянул руку к востоку.

На воротах курорта возвышался портрет Сталина, обвитый венком из крупных циний. Взор Сталина был направлен туда же, куда смотрел Ленин, – на просторы кубанской равнины.

Люди поднимались на трибуну и произносили горячие, искренние слова.

Отец не выступал с речью. В новом костюме из тонкого шевиота, в белой сорочке с широким отложным воротником, он стоял у трибуны и почти не отрывал глаз от трактора. Как ни старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение: брови его поднимались, то одна, то другая, руки были в движении, и он часто прикладывал платок то ко лбу, то к затылку.

И вот митинг окончился. Секретарь партийной ячейки нагнулся к отцу и махнул рукой.

Отец кивнул головой, быстрыми движениями пальцев оправил полы пиджака и подошел к трактору.

Люди следили за каждым движением моего отца, и мое сердце переполнялось радостным волнением.

Отец провел широкой ладонью по тракторному корпусу, как бы лаская его, и прыгнул на железное сиденье.

Мне не было видно из-за толпы, что происходило дальше. Я услышал только громкий рокот мотора, звуки, похожие на стрельбу, и заметил черные клубы дыма.

Работая и головой и локтями, я все же вовремя протиснулся вперед, не обращая внимания на пинки и подзатыльники.

Шпоры задних колес рванули траву, и трактор двинулся с места. Толпа расступилась, шум смолк.

Мальчишки с любопытством свесились с крыш и деревьев, боясь упустить хотя бы одно движение машины.

Трактор прошел вперед шагов на двадцать и остановился. Мотор продолжал работу. Народ напирал со всех сторон. Две молодайки подбежали к трактору из задних рядов и со смехом ощупали его. Они что-то весело прокричали в толпу и вернулись, горделиво оглядываясь и подтягивая концы платков...

Отец привязал руль веревкой и спрыгнул на землю. Толпа удивленно охнула. Еще бы!

Трактор без управления сам пошел по кругу. Теперь люди образовали плотное кольцо, внутри которого, рокоча мотором и блестя шпорами, ходил и ходил новенький, поблескивающий крашеным металлом трактор.

– Сам идет, бабоньки!

– Как живой!

– Цоб-цобе-цоб!

– Третий круг!

– Прямо карусель!

– А пахать как? А может, только для забавы?

Сейчас кажется странной эта обычная для того времени картина. Но пусть читатель вспомнит о своей первой встрече с паровозом, автомобилем или самолетом. Пусть читатель поймет, какие особенные чувства владели сердцем крестьян, жизнь которых должна была изменить эта машина.

Отец остановил трактор, развязал веревку и с той же красивой ловкостью сел на сиденье.

Председатель совета и секретарь партийной ячейки сошли с трибуны. Мальчишки будто по сигналу посыпались с крыш, как воробьи.

Виктор оказался со мной рядом и толкнул меня локтем.

– Твой батько?

Я гордо ответил:

– Мой.

– Хитро придумал, – сказал Виктор. – Ты, небось, тоже такой?

Люди шли за трактором по обеим сторонам улицы. Теперь уже почти не было слышно насмешливых выкриков и шуток. Трактор, пофыркивая, двигался к старинным наделам.

Мое мальчишеское сердце было полно невыразимой гордостью: ведь я был участником великого события; ведь над колыхающимися волнами казачьих шапок, картузов, над головами женщин, повязанными беленькими и пестрыми платками, поднималась фигура моего отца! Он сидел за рулем, откинув назад свой корпус, белыми крыльями лежал ворот рубахи на пиджаке, оттеняя его загорелую, крепкую шею. Смуглое, усатое лицо отца было исполнено торжественным достоинством.

Рядом с трактором шел Устин Анисимович. Он шагал уверенно и спокойно, с палочкой в руках и, улыбаясь, кланялся знакомым.

Когда наша процессия достигла окраины станицы, Устин Анисимович снял шляпу. Степной, пряный ветер шевелил его длинные волосы, лежавшие на плечах.

Моя мать шла рядом с доктором. Изредка, с тревожной улыбкой, она разыскивала нас в толпе глазами.

Илюшка строго приказывал мне:

– Показывайся хотя на глаза маме, пистолетный патрон!

Возле матери шли Аня и Люся. Их головки с косичками иногда попадали в поле моего зрения.

За станицей был заранее подготовлен участок толоки – давно не паханной земли. На ней серели осоты, стояли татарники и виднелись светло-сиреневые цветочки цикория или питрова батига.

Отец остановил трактор, прицепил плуг, также празднично окрашенный, со сверкающими на солнце лезвиями лемехов. Комсомольцы расставили всех собравшихся вдоль поля, чтобы каждый мог видеть работу новой земледельческой машины. Люди растянулись цепью вдоль дороги почти до самого берега Фанагорийки.

– А ежели не возьмет толоку? – спросил меня Виктор.

– Обязательно возьмет, – уверенно ответил я, хотя и у меня в душе тоже копошились сомнения.

– Возьмет! – выпалил запыхавшийся Яша, глядя на все широко открытыми и возбужденными глазами.

– Ну, раз Яшка поручился, молчу, – угрожающе сказал Виктор.

– Я... я... ничего, – залепетал Яшка. – Просто мне казалось...

Виктор посмотрел на него, ничего не ответил.

Двухлемешный плуг управлялся самим трактористом. Но за работой плуга следил молодой казачок в шапке с красным верхом. Не вынимая рук из кармана ластиковых штанов, не

совсем еще понимая свое значение, казачок подмаргивал знакомым девчатам и скалил зубы. Ему, видимо, было лестно находиться в центре внимания, и одновременно казалось, что заставили его заниматься пустым делом, баловством, игрой. Поэтому-то он и не вынимал рук из карманов, подмаргивал. И так небрежно сдвинул кубанку на свою левую, каракулевую бровь.

Снова зарокотал трактор. Лемехи постепенно погрузились в землю. Под рамой плуга татарники покорно нагнули свои малиновые чалмы. Трактор, как конь с норовком, сделал рывок – и первые глыбы взрезанной земли перевернулись, накрыв придорожный шпарыш. Масляная полоса борозды потянулась за плугом. Молодой казачина теперь вынул руки из кармана и вприпрыжку бежал за плугом. Его шапка была сдвинута на затылок, а на лице появилось то же серьезное, деловое выражение, как и у большинства людей, следивших жадными глазами за каждым взмахом тракторных шпор, за блеском лемехов, сверкавших в черной, первородной земле.

Падали бурьяны. Трещали терны. И гасли под колесами и плугом светло-сиреневые удивленные глазочки питрова батига. Парной след поднимался от вспаханной целины. Не отставая ни на шаг, шла рядом с трактором моя мать, забрызгав полуботинки росой, исхлестав ноги желтым цветом донников. Каким счастьем светились ее глаза! Может быть, это была первая радость после смерти Матвея.

– Сколько же таких чертоломов пришлют? – кричал какой-то степенный дядя с клинообразной бородой.

– Один напоказ, – отвечал ему Сучилин, тот самый казак, который переправлялся верхом у брода. – Будем на одного такого бога молиться, пока дотла лбы расшибем.

– Не тебя пытаю! – крикнул степенный дядька, протиснулся к борозде. – Сколько таких, механик?

Отец обернулся, и всем стал виден орден Красного Знамени на его груди. Он громко отвечал, чтобы слышали все:

– Сколько нужно!

– Каждому?

– В колхозы!

– Прямо в колхозы?

– Через машинную станцию... Там будет уход и ремонт.

– А кто пришлет? – кричали из толпы.

– Советская власть!

Испытания продолжались. Теперь даже скептически настроенные старики, увидев работу трактора, заинтересовались его способностями. Новая машина стала на глазах предметом практическим, полезным.

Казачки уже не пересмеивались. Они попросили провести вторую борозду, – как накроет? Вторую борозду трактор взял еще легче и точно, без промаха, накрыл жирный отвал первой борозды.

Потом старики измерили глубину пахоты, ширину захвата. Понравилось. Деловито полюбопытствовали насчет огрехов: как сводит трактор углы? Тогда же, посоветовавшись между собой, установили: способней пускать под трактор большие массивы. Значит, к тому и артели. Ломай межники! А сколько мотор ест керосину? Какого сорта масло? А нельзя ли трактором молотить на шкивном приводе? Что? Может? И неужто потянет барабан-молотилку?

К этому отнеслись недоверчиво, но трактор утвердили молчаливым своим согласием.

Первый снаряд полетел над нашей закубанской степью – снаряд, направленный на прежнюю, узловатую крестьянскую жизнь.

Бронзовый Ленин стоял, протянув вперед руку. Великий Сталин закладывал в те дни фундаменты новых тракторных заводов, и, повинувшись его мудрой, целеустремленной воле,

тысячи рабочих начали кирками и ломами рыть котлованы под ту индустрию, которая потом спасет отчизну.

Над землей зажглась заря новой, колхозной жизни...

Глава седьмая. Четыре подковы

После появления первого трактора я не мог избавиться от двух противоречивых чувств: мне было и радостно и страшно. Страшно потому, что я слышал недобрые разговоры в станице: что-то замышлялось против моего отца; радостно потому, что я верил – трактор поможет отцу одолеть все беды.

Несколько лет спустя я видел при большом стечении народа в поле работу комбайна, заменившего сразу и жнейки, и косы, и катки, и конные приводы, и молотилки.

Отец, как я уже говорил, в царицынских боях служил на бронепоезде Алябьева. Ему нетрудно было справиться с трактором еще потому, что в германскую войну пришлось повоевать на броневых автомобилях с моторами «Остин», принятыми тогда в царской армии. Дед же мой, как говорил отец, «боялся тележного скрипа». Мне же пришлось...

Вначале не мешает очертить несколькими штрихами свое детство и юность, чтобы понятней было дальнейшее. Нужно много забот и труда старших, чтобы у мальчика вырастить крылья, чтобы подковать его «на четыре подковы».

Я был трудным мальчишкой, особенно после приезда на Кубань, когда сошелся с ребятами-фанагорийцами. Родители пытались привить мне охоту к полезному труду. Но многие знают, как в юности трудно бывает пройти сто метров, выполняя просьбу родителей, и как легко пробежать десять километров по своей охоте. Как порой тяжело прочесть страницу из учебника, но как легко проглотить две-три книги про индейцев и пиратов.

Вот что осталось у меня в памяти.

Это было уже после того, как мы покинули дом Устина Анисимовича и переселились на свой участок, отведенный отцу по постановлению колхоза, где он работал трактористом.

Мы принялись устраиваться на новом месте. Колхозники привезли бревна, щепу, легкие столбы на стропила, помогли обтесать бревна, связать сруб.

Отделочные работы, рамы, ставни и кровлю отец решил сделать своими руками. Он заставлял нас помогать ему: подносить бревна, подавать щепу, исполнять роль подручных при плотничных работах, месить ногами глину.

Осенью с наружной отделкой дома было покончено. На нашем участке уже росло несколько старых яблонь, и плодов было много. Отец все же решил посадить новый сад, привить хорошие сорта крымки и белого налива. Помогая отцу, я поддерживал тоненькую яблоньку над ямой и услышал призывной свист моего друга Виктора Неходы. Я знал, что вслед за этим свистом ватага мальчишек углубится в лес по каштановой тропе; в карманах друзей будут предметы для добывания огня по способу предков, за поясами ножи и даже за спиной у кого-нибудь мелкокалиберное ружье, а в руках удочки и котелки для уха. Как запрыгала в моих руках яблонька, расставившая над ямой свои усатые корневища!

Может, закончить работу, а потом бежать к друзьям? Но я знал, что за посадкой идет поливка, а потом отец вздумает прививать дикие груши и заставит меня держать срезанные острым ножом черенки, а потом... Сколько дел могут придумать всего два человека – ваши отец и мать!

Свист Виктора повторился. Сейчас это был приказ: немедленно появиться на сборном месте. Я знал, что в противном случае меня ждет презрение всей компании, притаившейся на острове.

Отец был занят своим делом и не обращал внимания на свисты.

Вскоре яблоня стала своими растопыренными корнями в приготовленном ей гнезде. Отец насыпал в яму земли, смешанной с перегоревшим навозом. Ствол теперь держался без моей поддержки. Казалось бы, и все. Но отец приказал мне примять землю ладонями, чтобы закрепить только что посаженное дерево. Стоит только опуститься на колени и приняться

выполнять поручение, подспеют еще десятки других. Я решил схитрить. Изобразив на своем лице невыносимое желание «проведать ветерок», я получил разрешение отца. Я подбежал к бурьяну и стремглав бросился к забору.

Можно было перебраться через забор по лазу, но этим я разоблачил бы свое намерение улизнуть. Я решил перемахнуть через забор там, где особенно сильны были заросли глухой крапивы.

Не поднимая головы, я перевалился через забор. Дурманящие запахи воли кружили мою голову. Я осторожно приподнялся, чтобы сделать прыжок. Мои ладони еще прикасались к земле, мои глаза с восторгом видели синюю гряду гор... Надо немного напрячь тело, перепрыгнуть через бешенюку – колючий бурьян – и дальше... остров, заросли верболоза, где на условленном месте сбора ожидают меня мои друзья. Ну, прыжок!

Чьи-то цепкие пальцы схватили меня за левое ухо. Если сильно рвануться, кто удержит? Ухо останется целым, погорит немножко, будто натертое перцем. Но мое ухо находилось в пальцах почитаемого мной человека – Устина Анисимовича. С ним мне еще придется встречаться не один раз, да и ссориться с другом отца не входило в мои расчеты.

– Молодой человек, очевидно, отправился по поручению своего отца? – спросил Устин Анисимович, глядя на меня пронзительными, насмешливыми глазами.

– Откуда вы знаете, Устин Анисимович, что я отправился по поручению папы? – спросил я, решив хитрить до конца.

– Еще бы не знать, – насмешливо ответил доктор. – Чтобы исполнить родительское поручение, необходимо миновать калитку, приспособленную для нормального движения, пробраться сквозь крапиву и, рискуя наружными покровами своего живота, перевалить дубовый забор...

– Вы не задерживайте меня...

– Милый друг! Если я не ошибаюсь, вы хотели побыстрее принести садовые ножницы, которые просил у меня ваш отец? – с вежливой улыбкой спросил Устин Анисимович.

Третий пиратский свист как бы прорезал прозрачный воздух. Третий свист, в котором было требование, угроза и самое страшное, чего я боялся, – презрение.

Последняя фраза Устина Анисимовича навела меня на разумный выход из создавшегося положения. Конечно, отец, посылал меня за садовыми ножницами, я тороплюсь за ними.

– Да, Устин Анисимович, – залепетал я, – действительно... меня просил папа сбегать, а я...

– Эти ножницы у меня в кармане, Сережа, – сказал Устин Анисимович с мягкой улыбкой, – вот они... – Ножницы щелкнули в его руке – раз-два. – Пойдем-ка со мной и поговорим дорогой.

Я подчинился Устину Анисимовичу и поплелся за ним. В пути я жалобно попросил доктора не говорить отцу о моем поведении.

– Хорошо, – сказал Устин Анисимович, – вообразим, что я постараюсь прикрыть тебя и совру вместе с тобой твоему отцу, моему близкому другу. Как ты потом расценишь мой поступок? Ты скажешь своим друзьям: какой лживый человек Устин Анисимович, некий доктор с длинными волосами. Зачем же рядом с моей личностью в твоих воспоминаниях будут присутствовать такие нелестные для меня прилагательные? А? И дальше... Твой отец сумел уже догадаться о причинах длительного отсутствия. Если бы это было впервые. А то подобный трюк ты повторял уже, по-моему, четыре раза...

– Три, – поправил я.

– Тебе, конечно, видней, дружище, – продолжал доктор, – но ничего не получится из нашего сговора. Отец уличит нас обоих. И мне будет стыдно и тебе...

– Прошу вас, – клянчил я, увидев отца, державшего черенки в широко расставленных руках.

– Будь мужественным, Сергей, – серьезно посоветовал доктор, – не заискивай у других. Держись гордо. Эти качества потом пригодятся в жизни. Умей делать из каждого поступка выводы для себя. Что от тебя требовал твой отец? Очень немного. Поддержать яблоньку на весу, пока он засыплет ямку, верно же? А потом что? Притолочь землю ладонями? Ведь если не уплотнить яблоню у корня, ее расшатает ветер – и засохнет дерево. Зачем тебе слыть лоботрясом и нерадивцем? Отец завоевал тебе государство, построил новую жизнь, – доктор приостановился и уставился на меня своими испытующими глазами. – Кому же мы можем доверить и передать из рук в руки наше молодое и выстрадавшее государство? Ты понимаешь меня, Сергей? Кому мы можем доверить наши труды, наши слезы, наш факел, а?

Ухо мое горело. Нравоучительные сентенции доктора, обращенные к моей совести, казались мне напыщенными и немного смешными.

– Ага, вот где сорванец! – воскликнул отец. – Неужели я должен его привязывать за ногу? Опять двадцать пять! Спасибо, Устин Анисимович, что ты привел этого лоботряса за ухо... Жду, жду... Пропал!

Мы подошли ближе, остановились.

– Какие вопросы ты будешь мне задавать теперь? – спросил отец. – Сколько звезд на небе или сколько рыб на луне? Или опять будешь меня спрашивать, кто красит перья фазану?

Я виновато поглядел на отца и тихо попросил его:

– У меня есть один вопрос, папа.

– Говори, говори. Вот послушай, Устин Анисимович, что еще завернет этот мальчишка.

– Скажи мне, папа, – начал я, поглядывая с неприязнью на доктора, – откуда ты узнал, что меня привели за ухо?... А может быть, вы сговорились меня поймать, когда я задумал убежать на остров?

Отец и доктор расхохотались. Отец положил на землю черенки и смеялся, ухватившись за бока руками.

– Ты гляди, гляди, Устин! – с трудом выговаривал он. – У нас, оказывается, только и дела устраивать засады на такую дичь, а? – Он приложил палец к моему уху. – Узнал по этому предмету, горит, как на пожаре. Никто не сговаривался ловить тебя. А если ты попытаешься еще раз удрать без спросу, я тебя...

Наш новый дом был уже накрыт щепой и обмазан пока только снаружи глиной, смешанной с крошеной соломой. Так утепляли дома в предгорье, где менее суровые зимы, чем в степи.

Вечером я лежал в новом доме на своей кровати. За дощатой стеной в соседней комнате разговаривали отец и Устин Анисимович. Они оба любили беседовать за стаканом крепкого чая.

«Уйти сразу же? Нет смысла. Ребята без меня сожгли свечи в Богатырских пещерах. Они теперь возвращаются домой берегом Фанагорийки. А может быть, даже остались на ночевку у Золотого источника, под старой ракушкой».

Уйти к ним сейчас? Не будет ли это похоже на бегство? Накрыться одеялом и не слушать разговоры за дощатой стеной? Опять, вероятно, разговор обо мне?...»

Мое ухо горело до сих пор. Надо отомстить доктору. Но как? Я старался придумать способы отплаты. К обиде примешивался стыд, – так трусливо себя вести!

Я прислушался.

За дощатой стеной шел разговор о воспитании моей персоны.

Все услышанное мною в этот вечер навсегда запечатлелось в моей памяти.

– При большой семье тем более нельзя смотреть сквозь пальцы на проступки одного из членов семьи, Иван Тихонович, – говорил Устин Анисимович. – Семья ваша идет издревле. На таких простых семьях держалось и развивалось русское государство. Подковывай мозги своим детям, Иван, на все четыре подковы. Чтобы ни в какую гололедку не скользили, не падали,

чтобы искру высекали из кремня, чтобы, когда нужно, так бы отбрыкнулись, чтобы дух вон с нечистого...

Потом я услышал голос отца.

– Раньше, не отвоюй мы на бронепоездах и в пехоте, впрягла бы тебя, в твоём положении, жизнь в непроходимую крестьянскую работу. – Он говорил, как будто обращаясь ко мне. – А теперь общество избавляет тебя от забот в детстве и требует от тебя самого главного – учиться. Книги, по которым ты учишься, написаны для тебя умными людьми. Возьми от этих книг все. А почему ты избавлен в детстве от непосильного труда? Потому, что есть советская власть. Нашей стране не нужны неучи. Советская власть изготовила и дала крестьянам машины, высвободила людей, организовала их совместную работу. Вот это ценить надо...

Чьи-то теплые руки прикрыли мне глаза. За спиной послышался сдавленный смех и частое дыхание.

Я был поглощен беседой взрослых и не ожидал нападения. Мне показалось, что я узнал ладони, прикрывшие мои глаза.

– Люся? – сладким шепотом произнес я.

В ответ я услышал злорадный смех.

Оглянувшись, я увидел Анюту, делавшую мне гримасы.

Вот когда загорелось и мое второе ухо. Я ненавидел себя в тот момент за свой дурацкий, сладкий шепот.

Анюта прыгала возле меня.

– Значит, Люся? Люся? – передразнила она меня. – Люся?

– Уйди отсюда, – пригрозил я, – убирайся!

– А мне ты не нужен, – обидчиво сказала она, – с тобой нельзя ласково... Иди... тебя ждет рыболов.

– Нехода?

– Нехода? – Анюта покраснела. – Почему Нехода? Нужен мне Нехода.

– Поймалась, поймалась!

– Тебя ждет твой Яшка! – выкрикнула Анюта и исчезла.

Яшка поджидал меня во дворе. В темноте сверкали его глаза. Сегодня он выполнял задание Виктора, который вызывал меня к памятнику партизанам – нашему условному месту сборов.

– Что-то важное?

– Не знаю, не знаю, – быстро ответил Яша, – сам Виктор послал меня к тебе. Сам Виктор! Я выскользнул на улицу. Яша подгонял меня.

С ним мы были в дружбе. Она завязалась еще с первой встречи на Фанагорийке. После моего заступничества, подкрепленного несколькими стычками и с Неходой и с Фесенко, Яша поверил в меня. Постепенно мальчишки перестали над ним смеяться, и он стал неизменным участником всяких игр, озорных забав и приключений. Я считал его преданным другом. Он был верен своему слову. «Сказано – сделано» – было его законом.

Над памятником павшим партизанам горела красная звезда. В темноте южной ночи этот свет был отличным ориентиром. Казалось, электрическая звезда висела в воздухе.

Мы подошли к памятнику.

– Ты почему не вышел на остров? – спросил Виктор.

Пашка стоял рядом и ухмылялся.

– Я помогал отцу сажать яблони, – ответил я.

Виктор свистнул, наклонился ко мне.

– Прилежный мальчик. Кто же из нас свободен, как ветер? Ты бы мог сбежать.

– Нет. Не мог...

– Почему?

– Не хотел.

– Не хотел? – Виктор нахмурился, присел у памятника. – А если было решено? Как же ты не хотел? Ты же подвел своих товарищей. Ты знаешь, мы не пошли без тебя. У нас пропал целый день... Ты слышал три свистка!

– Да.

– Он захотел кушать яблочка, – Пашка подхихикнул.

– Мой закон – выполнять до конца задачу, – сказал Виктор после короткого молчания, – никогда не отступать от намеченной цели.

– Я не понимаю тебя, Виктор, – сказал я.

– Не понимаешь? Странно. Мы решили идти в Богатырские пещеры?

– Решили.

– Следовательно, надо выполнять решение.

– Мы решили идти днем, Виктор... А сейчас ночь.

– Но днем-то мы не пошли?

– Зачем сто раз меня упрекать?

– Я спрашиваю, а не упрекаю. Днем не пошли?

– Нет.

– Надо идти ночью.

– Ночью?

– Да.

– Это будет так интересно! – воскликнул Яшка.

– Тебя не спрашивают, – оборвал его Виктор. – Я спрашиваю тебя, Сергей. Или ты боишься?

– Я, право, не знаю... ночь... что скажут родители...

– Его надо привязать к маминой юбке, – сказал Пашка.

– И тебя не спрашивают, – отдельно произнес Виктор. – Есть такой маленький гвоздь, который лезет в любую дырку. Не будь таким гвоздем, Пашка, – Виктор опять обратился ко мне: – Ну, как ты думаешь?

В этот миг у меня в душе боролись две противостоящие силы.

Идти ночью в Богатырские пещеры было заманчиво, не говоря уже о том, что совместный поход примирил бы меня с приятелями. Но приняв это предложение, я вступал на путь борьбы с родителями.

Как можно не выполнить слово, данное товарищам? Как уйти без спросу? Получить разрешение? Но кто позволит ночью идти в Богатырские пещеры?

Может быть, меня уже хватились? Анюта скажет отцу о приходе Яшки. Этого достаточно, чтобы рассердить родителей.

Но откажешься от похода – и навсегда потеряна моя честь в глазах приятелей. А с кем мне приходится больше делить свой досуг? Конечно, с ними.

Я обещал выйти на свист к острову? Обещал. Не исполнил? Нет. Не исполнил потому, что был позорно пойман за ухо. А если ребята узнают об этом факте? Хорошо, что в темноте никто не видел краску стыда, залившую мое лицо.

Я не мог отказаться от предложения, сделанного мне Виктором.

– Мы захватили свечи, ножи, спички, продовольствие, – перечислял Виктор, не глядя на меня. – А это! – Виктор перебросил с ладони на ладонь пистолет – нашу красу и гордость. – Ты волен решать, как угодно. Если ты откажешься, вместо тебя пойдет Яшка. Он смелее тебя и готов на любые поступки во имя дружбы.

– Я иду с вами! Иду!

– Я так и знал. – Виктор поднялся. – Так поступают сильные люди. Не будем терять времени...

Глава восьмая. Богатырские пещеры

Мы уходили в пещеры. Яша оставался у места сбора – памятника павшим партизанам. Очевидно, Виктор считал, что мальчик еще мал для таких походов. Фраза: «Он смелее тебя и готов на любые поступки во имя дружбы» – была произнесена Виктором из дипломатических соображений.

На прощанье, откатывая рукава сатиновой рубахи, Виктор приказал ему:

– Останешься при наших домах. В случае опасности, опасности для нас, сообщи на пятках.

– Я прибегу за вами, хотя бы у меня вырвалось сердце, – выпалил Яшка.

Виктор хмыкнул в ответ, и мы пошли по улице, обсаженной пирамидальными тополями. Вершины их, казалось, сближались с небом: мы шли по какой-то сказочной галерее.

Впереди шел Виктор. На плечах его висел рюкзак. За широким ремнем – духовой пистолет. Ножи в самодельных чехлах были у нас на поясах. Впопыхах я надел свои новые штаны и праздничные башмаки. Дальнейшая судьба этих вещей беспокоила меня больше, нежели самовольный уход из дому. Мы рассчитывали вернуться в станицу из Богатырских пещер сразу же после полуночи. Можно сказать, что задержался у Виктора. Такое объяснение правдоподобно. Если я изорву штаны и поцарапаю башмаки, не оправдаться, не избежать наказания. Мне самому не хотелось портить вещи, с трудом приобретенные родителями. Что же делать? Башмаки можно было снять незаметно от Пашки, чтобы не поднять на смех за скардность. А штаны? Какой уважающий себя мальчишка сдернет штаны и будет ночью вышагивать в трусах из-за мелочных расчетов!

Конечно, ботинки сняты не были, также – штаны. Леса и горные тропы изобиловали разного рода пресмыкающимися. А грубая кожа башмаков, как известно, предохраняет от укусов змей.

Виктор возле почтово-телеграфной конторы свернул вправо. В освещенном окошке была видна сидевшая у аппарата сутулая телеграфистка.

Мы обошли почту, углубились в город. Окошки квартиры начальника почты светились красноватым огнем абажура. Казалось, среди стеблей кукурузы прилег для прыжка какой-то огромный зверь.

Стебли хрустели под ногами, будто дождевые черви, мохнатые нити кукурузных початков представлялись бородами. Отдаленный крик неясити леденил кровь. Эхо множило страшные птичьи крики.

Звезды сверкали в разрывах между облаками, натекавшими через хребет. Разряженный воздух заставлял еще сильнее колотиться наши детские сердца.

Виктор вел нас, презирая тропинки. Слева высилась гора, поросшая густым лесом. Снизу от реки (ее шум еще не был слышен) напознал туман. Одежда отсырела. Хотелось, как зимой, потерять озябшую кожу.

Над горным подлеском, куда еще не дотянул туман, вспыхивали огоньки южных светлячков, крупных насекомых с брюшками, будто налитыми фосфором. С сухим шелестом перепончатых крыльев пролетела летучая мышь.

С туманом пришла холодная горная роса, прижавшая своей оловянной тяжестью даже густые пыреи. Башмаки промокли в пальцах, к подошвам прилипла сырая земля.

Ночное предприятие пока не приносило ожидаемых радостей. Из нас троих только один Виктор бывал уже в Богатырских пещерах. Его скупые рассказы возбуждали наше воображение.

Мы обошли подошвой горы санаторные службы, скотинники, конюшни и просекой, проложенной параллельно главной аллее для вывоза дров, вышли в так называемую Минеральную долину.

Долина наполнена отголосками эха от криков ночных птиц и настоена серными запахами горячих источников. Под нами по естественным подземным тоннелям текут и плавают подпочвенные породы горячие минеральные реки. Они частично заведены в трубы и подняты на поверхность земли. Эти давние источники «Мария» и «Принцесса» одним из своих двух раструбов выведены в цементированные бассейны-охладители. Бассейны прикрыты драпкой от непогоды, пыли, падающих листьев. Из них вода поступает в ванны, смешавшись с горячими шестидесятиградусными водами, непосредственно из скважины. Над бассейнами повисли большие чинары, расколовшие корнями скалы. В чинарах кричит как будто преследующий нас филин. Мне чудятся взмахи его тяжелых крыльев. От бассейнов удушливо тянет запахом тухлых яиц – сероводородом.

Под ногами теперь твердая почва. Мы идем по дорожке. В темноте журчит железистый источник. Слышно, как по стоку бьет звонкая капель. В траве шуршат либо ящерицы, либо ужи. Может быть, они тянутся к водою, к источнику. Я стараюсь быть ближе к Пашке, а тот – к Виктору. Пашка мне понятен вполне, неясно только, о чем думает Виктор. Его упрямство начинает злиться. В погоне за сильными ощущениями он избирает путь к скале Спасения не огородами лодочника, а через Дантово ущелье.

Даже днем Дантово ущелье вызывало у всех щемящее чувство страха, стоило только войти под его мрачные своды. Дикое нагромождение камней узкой, безветренной и лишенной солнца щели почти физически давит на вас. Не покидает чувство опасности и тревоги. Кажется, в любую минуту все, что нависло над вами, рухнет и похоронит в этой огромной могиле. Камни осклизли, слезятся, покрыты плесенью, кладбищенскими побегими ползучего плюща.

По дну ущелья, словно по каскадному каменному жолобу, бежал ручей, опускаясь с одной обомшелой вазы в другую, и так до выхода в Минеральную долину. В расщелинах жили ящерицы, попадались змеи. Говорили, что в Дантовом ущелье темнеет серебро, останавливаются часы, а стрелки компасов пляшут как бешеные. Возможно, в подобных рассказах была какая-то доля правды.

Виктор вошел в ущелье, за ним исчез Пашка. Оскользываясь на мокрых камнях, я догнал их. Виктор умел ходить быстро и бесшумно, а темная одежда скрывала его в темноте щели. Вырубленные ступени вели на гору.

Снова над нами прокричал проклятый филин. Его тень пронеслась над трещиной. Вверху закачались и зашумели чинары.

Туман, как в воронку, вливался в ущелье. Удушливая тяжесть давила грудь, дыхание учащалось. Ядовитые испарения Минеральной долины доходили сюда и долго не выветривались. Причудливые изломы камней казались одушевленными существами. Мои спутники молчали. Каблуки глухо стучали по плитам лестницы, как по замурованным подвалам таинственного замка.

Подъем продолжался удивительно долго. Наконец мы выбрались наверх, остановились. Черная пасть Дантова ущелья лежала у наших ног.

В сердце притекала храбрость. Мы перебросились несколькими незначительными фразами, окончательно восстановившими наше душевное равновесие, и пошли к скале Спасения. Перевалив ее, мы выходили на старинную пешеходную тропу, проложенную еще черкесами вдоль реки в верховье Фанагорийки.

Высокие дубы, чинары и карагачи колыхали над нами свои могучие ветви. Над головами в облачных окнах, будто горстями, были разбросаны звезды. Такие хрустальные и блестящие бывают только в южном горном небе.

Скала Спасения походила на заваленный вбок гребень бойцового петуха. Она на большую глубину уходила в реку, образовав на дне Фанагорийки каменную чашу.

Виктор перевалил через гребень. Мы осторожно спускались за ним по крутизне. Если бы не выдолбленные в скале ступеньки, при спуске нужно было бы прибегать к веревке.

После скалы Спасения тропа пошла над рекой. Черные стволы буков охраняли ее. Река шумела все больше и больше. Казалось, река течет по дну бездны. Через час шум сменился рокотом. Фанагорийка прорывалась в этом месте через каменную теснину, рыла берега, кипела, и поток падал на сланцевые террасы, постепенно переходившие в обычное долинное русло с песочком, землицей и камешками.

Над тесниной на стальных тросах висел пешеходный мост с дубовыми перилами. Мост раскачивался. Скрипели и стучали под ногами узкие доски. Мне хотелось пить. Сюда долетали крупные брызги и пресная водяная пыль. Я шел и жадно облизывал губы. На левом берегу Виктор подождал нас, сказал «дальше» и быстро пошел по дороге между ивами.

Наконец мы подошли к Золотому источнику. Осенью вокруг источника лежали золотые опавшие листья, и сама чаша его от железистых солей покрывалась красновато-ржавым налетом. Отсюда и пошло название источника.

Ручеек рождался у корней старой ракиты. Вода была чистая, холодная. Несколько раз я наклонился к источнику, сложив чашечкой ладони.

Пашка плашмя лег на землю и пил воду длинными хлюпающими глотками.

После привала у Золотого источника рюкзак переключивал на плечи Пашки. По-прежнему двигались гуськом. До цели нашего путешествия оставалось около пяти километров по протоптанной, хорошей тропе. Виктор предложил не торопиться домой, но это противоречило моему желанию. Родители, видимо, уже хватились меня.

– Отец и мать созданы для того, чтобы беспокоиться о своих детях, – сказал Виктор, внимательно меня выслушав.

Я не стал спорить с Виктором: это дело безнадежное.

Река шумела все больше и больше. Если бы мы не свернули к пещерам, можно было бы в конце концов дойти до ее водопадных истоков, у Волчьих ворот.

Пришло время завернуть на тропу, ведущую к пещерам. Виктор пошел впереди. Пашка на ходу передал мне рюкзак. Теплый от пота мешок повис у меня на спине. Он был сделан из обычного зернового чувала, прихваченного по углам веревками.

Виктор остановился. Перед нами поднимались стены обнаженных известняков. На скалах щеткой стояли низкорослые, саблистые деревья, отлично видные снизу.

Виктор подозвал нас и указал вверх, где виднелся черный треугольник расщелины.

– Там, – прошептал он.

– Почему ты шепчешь и таишься? – спросил я, взвинченный его театральными приемами. – Мы ночью здесь одни, нас трое, а держимся, как воры...

Виктор не ответил.

– Что ты молчишь? – тревожно прошептал Пашка, и глаза его внезапно округлились, как у птицы.

– Смотри вниз, – сказал Виктор.

Мне показалось, что между кустами и деревьями, нависшими над сухим руслом, заматался красноватый, как глаз зверя, огонь. Потом пропал. Я потерял глаза.

– Огонек, – сказал я.

– Верно, – подтвердил Виктор, – кто-то курит в кулак. Ложись!

Мы плашмя упали на землю, притаили дыхание, хотя сердце каждого из нас готово было вырваться вон.

От расщелин осторожно пробирались люди. Мы лежали в кустах и поэтому, несмотря на темноту, видели их на фоне неба, как перед этим видели на скалах саблистые деревья. Незнакомцы выходили из пещеры.

Первый из идущих поскользнулся на камне, взмахнул руками для равновесия, выругался. Второй, в бараньей шапке, засмеялся коротким, булькающим смешком.

– Гляди, Сучилин, раньше времени не сломай себе шею.

– Не сломаю, – ответил Сучилин.

Они вышли на полянку, остановились возле кустов, где мы притаились.

– Никита, небось, прислал уже коней, – сказал Сучилин.

Его я разглядел хорошо. Впервые я видел его на фанаторийском броде при моем первом знакомстве с Яшкой и Виктором. Он работал конюхом в колхозе. Отец отзывался о нем хорошо. Сучилин любил лошадей, хорошо ухаживал за ними, держал в чистоте конюшню. Что же могло его сюда привлечь ночью?

Сучилин тихо свистнул. Кто-то откликнулся со стороны сухого русла. Заржала лошадь. Зазвенело удильное железо. Слышно было, как стучали подковами о камни.

– Пойдем, – сказал Сучилин, – а то этот обормот Никита угадает с конями наверх...

– Лагунов, небось, спит, как ангел, а мы колобродим, – сказал один из спутников Сучилина, в белой шапке.

Его я видел впервые. Откуда же он знает моего отца?

У меня тоскливо зануло сердце. Теперь я старался не пропустить ни слова.

Сучилин пошел вниз, раздвинул руками кусты.

– Дадим жизни Ивану Лагунову, – сказал он, будто самому себе. – Ангел!

Виктор подтолкнул меня.

– Слышал? – прошипел он, обжигая меня дыханием.

Я ощущал под ладонями сырую щербистую землю, покрытую острыми камешками. Я прижался к земле и слышал всем телом, как скрипели подошвы сапог по камням, как ломко отдавалось похрустывание валежника; запахло махоркой и свежесмазанной дегтем юхтовой кожей.

Люди сели на неоседланных коней – это нетрудно было заключить по звукам. Копыта застучали в направлении реки, захлюпали по воде. Всадники разделились – одна группа спустилась по течению, другая отправилась вверх.

Первым нарушил тягостное молчание Виктор. Ему также было не по себе.

– Нам придется идти в пещеру, – сказал он.

– Все же идти? Даже несмотря на то... – Пашка оглянулся, зубы его клацнули. – Может быть, там люди.

– Ну?

– Нас зарежут.

Мелкая, подлая дрожь била меня изнутри.

– Мы должны осмотреть пещеру, – произнес Виктор по складам, будто забивая гвозди.

К пещере вела каменистая тропа. Входное отверстие было достаточно для нашего роста. Можно было идти не сгибаясь. Пока огонь не зажигали. Двигались осторожно, стараясь наступать на носки и не сбивать камешки. Из пещеры несло, как из плохого погреба. Стены были мокрые. Вход начал сужаться. Пришлось согнуться. Сколько мы шли таким образом, сказать трудно. Наконец я выпрямился, раскинул руки, но стен не достал. Я остановился. Дальше могла быть пропасть.

Виктор зажег свечу. Над головами пронеслись летучие мыши, поднялись под своды пещеры и закружились там, шумя крыльями и попискивая тоненькими жуткими голосками.

Пожалуй, мне никогда не приходилось так сознавать свою беспомощность, как здесь, в пещере.

Мокрые стены с натечными оплывами сталактитов, казалось, были исписаны какими-то древними письменами, – не прочесть их... Черная впадина, откуда несло мокрым холодом, уходила в глубину Богатырских пещер, – им нет конца.

Виктор сказал побелевшими губами:

– Не стройте таких рож. Вы нагнали и на меня панику.

Я попробовал улыбнуться.

Летучие мыши исчезли одна за другой в глубине пещеры. Теперь мы могли лучше оглядеться. Наши восковые толстые свечи освещали пещеру с высоким потолком, откуда сочилась вода. В углу, левее наружного входа, была вырублена ниша. Возле нее стоял стол – спиленный сталактит. Ясеневые чурбаки, стоявшие у стола, заменяли табуреты. На столе были еще теплые оплывы свечи, на земле валялись обрывки газет, остатки крученок – козых ножек, в нишу были брошены бутылки. Одна из них заткнута кукурузной початкой, пропитанной самогонкой.

На сухой траве возле стены, как видно, недавно лежали люди. Стены были исчерчены разными знаками – следы пребывания экскурсантов. Из первой пещеры узкий коридор вел в следующую комнату. Мы решили осмотреть ее. Можно было передвигаться только гуськом. Виктор держал наготове духовой пистолет, мы – ножи.

Перед нами открывалось чудесное зрелище. Узорчатые, витые букетами колонны поднимались по стенам и углам и пропадали в темноте, где шумели черными крыльями летучие мыши. Посредине стояли причудливые статуи; одни из них готическими шпильями поднимались кверху, другие были похожи на каменных баб-идолов, что разбросаны по степным курганам.

Стены сочились. Где-то в глубине пещер, скрытых от нас, загадочно шумела подземная река. Свечи дрожали в наших руках, и сталактитовые изваяния, будто отлитые из хрусталя, мерцали в каком-то красноватом фосфорическом тумане. Стоило сделать хоть шаг, и тени ползли, извивались.

– Дальше еще пещеры, – прошептал Виктор, – идут и идут бесконечно. Может, к Туапсе... никто не знает. Дальше не пойдем... Там течет черная речка.

Мы повернули назад и свободней вздохнули; в первой комнате мы были ближе к свежему воздуху, к жизни.

Виктор погасил наши свечи. Свою поставил на каменный стол. Наши лица были мертвенно-бледны. Глаза обведены кругами.

– У меня есть предложение, – Виктор оглянулся, будто боясь посторонних ушей.

Мы тоже повернули головы. А вдруг чьи-то чужие глаза наблюдают за нами?...

– Надо подождать луну, – продолжал Виктор, – и тогда добираться домой.

– Луна взойдет перед рассветом, – сказал Пашка.

– Будем ждать, – сказал Виктор.

– Почему?

– Туман залил долину реки. Мы можем попасть в ущелье, в яму... и, кроме того, раз мы ввязались в такое дело, надо держаться вместе и крепко. И никогда не решать что-либо самовольно, без друзей... – Виктор глядел на нас своими глазами-занозами. – Один за всех, все за одного. Раньше люди давали клятвы... хотя... – его глаза остановились на свечке. – Чтобы никто из нас не изменил друг другу, мы можем дать клятву на свечке.

– На свечке?

– Да. На свечке... Вы слышали, что я говорил?

– Да, – ответили мы разом.

– Приближайте пальцы к огню. Не все, по одному указательному.

Мы соприкоснулись пальцами.

– Теперь спускаем ниже, к свече.

Наши руки опустились к огоньку.

– Ниже, ниже, на самое пламя! – командовал Виктор.

Огонь больно жег наши пальцы. Кожа покраснела, закоптелась. От острой боли выступили слезы. Пашка побелел, зашатался.

– Хватит, – скомандовал Виктор, – это была клятва. – Он подул на палец, усмехнулся. – Конечно, глупости, а больно, шут возьми. Только, смотрите, это всерьез... Чтобы ни гу-гу про наши похождения...

Мы молча подчинились вожаку.

Виктор развязал рюкзак, положил на стол круги овечьего сыру и связку сушеной тарани. Потом попробовал нож ногтем, нарезал хлеб, держа его по-крестьянски – у груди.

Мы поужинали.

Виктор взял в нише бутылки, вышел из пещеры, принес воды из ручья. Мы напились и улеглись на сухой траве, на полу.

– Туман закрыл все. Птицы и то не кричат, – сказал Виктор и заложил руки под затылок. – Вы спите, ребята, а я подежурю. Через два часа разбужу Пашку. А перед зорькой подежурит Сергей.

Усталость и пережитые волнения сломили меня быстро. Я будто провалился куда-то, крепко заснул.

Глава девятая. Выстрел

Яркий, багровый свет заливал пещеру. Яшка стал перед нами с горящим факелом в руке. ...Мое отсутствие всполошило наш дом. Мать решила, что меня надо искать только на дне Фанагорийки. Она была убеждена, что я не перенес оскорбления, нанесенного мне Устином Анисимовичем. Меня искали повсюду. Всполошили доктора, сбегали к Фесенко, к матери Виктора.

Прибежала Люся, хотела сама разыскивать меня и осталась у Анюты. Отсутствие Пашки и Виктора немного успокоило всех, но мои родители тревожились по-прежнему. Мать Виктора, застенчивая, бедная женщина, сторожиха школы, ночевала у нас. Отец Пашки, когда его тормозили, перевернулся на другой бок и сказал только одну фразу: «Дождлся вожжей».

В суматохе, охватившей четыре дома, в самом лучшем положении оставался Яшка. Ему хотелось выдать тайну нашего пребывания, подмывало повести по нашим следам целую карательную экспедицию из наших родителей, братьев и сестер. Он колебался, но, наконец, решил не выдавать нас.

Яшка бывал в Богатырских пещерах, ввязываясь в экскурсии санаторных больных, путь сюда ему был известен.

Наш юный друг сидел оборванный, грязный, утомленный, сжимая в руках пылающий факел, и глядел на нас такими преданными, блестящими глазами, что хотелось его расцеловать.

– И ты не боялся?

– Некогда было бояться, ребята. Я так, так спешил...

– Спешил?!.

– У меня вырывалось сердце, ребята!

Виктор удивленно рассматривал Яшку новыми глазами, как бы раскрывая для себя какую-то плохо прочитанную страницу Яшкиной души.

– А все же было боязно? Признайся, Яшка.

– Да.

– Видишь...

– Но я решил: бояться, но держаться как можно смелее.

– Храбро?

– Да, Витя.

– Словом, ты – храбрый трус? Есть такие?

– Значит, есть, – Яшка ткнул пальцем в свою грудь.

Виктор одобрительно улыбнулся, заложил в углы мешка камешки, завязал мешок плечевым узлом.

– Ты проходил Дантовым ущельем? – спросил Пашка.

Ему хотелось унижить Яшку, неожиданно очутившегося в центре внимания. В лице Яшки вставал новый, неожиданный для Пашки соперник.

– Нет, – просто ответил Яшка. – Зачем же идти Дантовым ущельем, крюком, когда есть прямой путь через речку?

– А там левым берегом, – подтвердил Виктор.

– А там левым берегом.

– Левым берегом, – пренебрежительно протянул Пашка. – Видишь? Левым не страшно. А вот Дантовым – спина холодает.

– Левым проще, – оправдывался Яшка, – я перешел вброд у кювета. Там плавают бычки и... змеи. Вероятно, ужи? Конечно ужи...

Виктор погладил плечо Яшки. Тот заулыбался, чувствуя поддержку.

Белая известковая пыль на полу пещеры покрывалась сажей от факела.

Мы вышли из пещеры. Трепеща крыльями, провожали нас летучие мыши. Мы – на воле. Покинуты загадочные, таинственные и зловещие своды Богатырских пещер. Свежий лесной воздух наполнил легкие.

В тумане шумела Фанагорийка. Черные деревья стояли в молочном, колеблющемся море. Выше деревьев плыла луна. В траве трещали сверчки, кое-где фосфорическими пульками проносились светляки.

Мы возвращались домой, угнетенные предчувствиями наказания. Это печальное предчувствие, смешанное с угрызениями совести, заслоняло теперь от нас всякие ночные страхи.

К шести часам утра мы выбрались, наконец, на гору, возвышающуюся над станицей Пескупской. Мы вернулись другим путем. Виктор повел нас по прямому, более трудному пути, сразу же после висячего моста взяв в горы.

Мы отдыхали на скале, измученные переходом, вымазанные в песке и глине, с грязными руками, в размокших башмаках.

Я видел отсюда крышу своего дома и дымок над летней кухней, заплетенной виноградом «изабелла».

Солнце только что поднималось из-за низкого предгорья. На пастбище доили коров. Скот утробно мычал. Издалека доносился запах молока.

Лучи солнца просеивали золотой полосатый свет через листву яблонь, садовых груш, сквозь прорези гор, меж стволами тополей, покрытых, как броней, стариковскими наростами коры.

И самая чудесная картина, представшая нашим взорам, – это картина несравнимой нашей Фанагорийки. При свете солнца, при темных утренних тенях мы видели выходящий из пропасти гор дымчатый, медленно струящийся поток. Это текла вторая дымчатая сказочная река, подрезывая основание гор, похожих на мохнатые черкесские шапки. Ни малейшего ветерка, листочки неподвижны, а между тем из ущелья между скалой Спасения и хребтом Абадзеха текла дымчатая река, продвигаясь вместе с течением вод Фанагорийки до самой долины, уже озаренной солнцем.

Над хребтом далеко позади, может быть в тех местах, где неизвестные богатыри проточили пещерами горы, распластав перистые крылья, висело облако с человеческой головой и бородой, взъерошенной кверху. В небе висела побледневшая луна: солнце беспощадно ее обесцветило.

Неожиданно, чуть не сбив меня с ног, из кустов выскочил Лоскут. Он носился как бешеный.

Он лизнул меня и снова полетел вниз. Оттуда доносились два детских голоса:

– Сережа!

– Витя!

– Витя!

– Сережа!

Виктор поглядел на меня с усмешкой:

– Ваши.

...Трудно еще раз описывать извечную картину возвращения блудного сына. Зачем вспоминать ремень, угрожающе встряхиваемый в оливковых руках отца, заплаканные от радости глаза матери. Мать сохранит блудного сына от побоев, приведет в порядок, отутюжит брюки, вычистит и высушит обувь.

Отец уехал на тачанке в поле. Мама накормила меня оладьями со сметаной, напоила чаем. Илюшка незаметно от матери толкнул меня в бок кулаком, сверкнул глазами. Мои похождения вызывали в нем чувство отвращения. Его рассудительный ум и, конечно, чуть-чуть более взрослый, чем мой, не мог постигнуть прелести практически бесполезных поступков. Его фантазия уже обеднялась возрастом, и я не мог завидовать своему старшему брату.

Я жевал оладьи. После сметаны перешел на вкусный горно-лесной мед. Его собирали колхозные пчелы от цветов ажины, мать-мачехи и цветущих весной фруктовых деревьев.

Мои мысли, как пчелы, кружились у сухого русла, возле Богатырских пещер. Слова Сучилина и человека в белой шапке не давали мне покоя. Несколько раз мне хотелось подойти к маме и рассказать ей все по порядку. Но меня удерживала клятва на огне – родители так и не узнали, что мы ходили к Богатырским пещерам, – и Виктор сказал: «Не расстраивай своих. Мало ли чего Сучилины не набрешут языками». Как поступить?

– Иди погуляй, – разрешила мама.

Я вышел на улицу. На мне были надеты старенькие штаны, перешитые из лыжного костюма, чувяки на белой подошве и ситцевая рубашка со стеклянными пуговками.

Конечно, я не был похож на королевича, о котором мечтала Люся. И, несмотря на это, я разыскал ее. Может быть, многие из моих безрассудных и необъяснимых холодным разумом проступков были совершены лишь для того, чтобы заслужить ее внимание.

Мы с Люсей сидим на горячем песке, истоптанном копытцами коз, и разговариваем. Наверху по дороге скрипят телеги. Изредка, когда потянет ветром, оттуда сносит в реку песчаную пыль. Медленно текущая вода шипит от упавшей пыли, будто остуживает ее. Берег перебит венами чугунных корней тополей-белолисток.

– Раньше писали о серебряных листиках тополей, – говорит Люся, глядя на трепещущие тополевы листья. – Знаешь, почему так сравнивали?

– Не знаю.

– Потому что не было еще алюминия, – сказала она, довольная своим открытием. – А посмотри на листья тополя, ведь они похожи больше на алюминий. Ну, как будто бы наплющили их под колесами поезда из маминых кастрюлек...

Мне приходится признаться, что листья тополя напоминают больше алюминий, чем серебро.

– Надо говорить: алюминиевый тополь, а не серебристый, – сказал я, чтобы угодить девочке.

Люся окинула меня взглядом, который выражал полное пренебрежение к «глупым мальчишкам».

– Так некрасиво.

– Зато верно.

– Не все верное красиво.

– К примеру?

– Пыльный и грязный лошадиный хвост. – Люся улыбнулась уголками своих пунцовых припухлых губок.

Я промолчал. Мне не давали покоя слова, услышанные ночью. Перед глазами стоял высокий Сучилин, незнакомец в белой шапке.

– Если я полюблю кого-нибудь, – мечтательно сказала Люся, – то это будет, – Люся посмотрела на меня, я покраснел и принялся что-то рисовать пальцем на песке, – это будет королевич.

– Королевич? – с досадой переспросил я. – Советская власть, и вдруг какой-то коррлевич?

– Над любовью нет власти, – строго сказала Люся. – Только я полюблю молодого, очень молодого королевича. Чтобы он был обязательно похож на девочку. Чтобы у него были светлые-светлые волосы, вот до сих пор, – она притронулась пальчиками к плечикам своего пестрого сарафана. – Башмачки с алмазами... на пряжке алмазы, бархатная накидочка по пояс, – пальчики ее растопырились у пояса сарафана, охватившего ее тоненькую фигурку. – На пальцах обязательно колечки, очень много. В руках чтобы у него была маленькая свирель, на ней он должен играть, а ходить по ковровой красной дорожке. Светлые волосы и красная дорожка, красиво, правда?

– Дорожку разостлать по песку?

– Песку? Нет, должен быть пол.

– Какой?

– Как в доме.

– Везде на улице? Пол, как в доме? – я недобро ухмыльнулся.

Этот королевич преследовал девочку уже долго. Мне хотелось своими руками придавить этого королевича, наступить на него и прижать башмаком, как дождевого червяка.

– Да, везде на улице пол, – упрямо ответила Люся.

– Этого не может быть.

– Поэтому я и не могу увлечься ни одним вашим мальчишкой... Потому именно, что этого не может быть. Только Анюта может вздохнуть по грубияну с грязными пятками.

– Это ты про Виктора?

– Да, – вызывающе ответила Люся.

– Ну, ну, – угрожающе заворчал я.

– Что «ну, ну»?

– Не позволю при мне так отзываться о моих товарищах...

– Простите. – Люся встала, встряхнула сарафанчик и медленно пошла от меня. Вскоре цветной ситчик ее платья пропал за стволами белолисток.

Мне стало грустно. Я бродом поплелся домой через реку.

Одинокие бычки шмыгали у моих ног. Крякая, проплыла утиная стая. Разморенные зноем, спускались к реке козы. В небе кружились шулеки, высматривая на земле добычу.

В смутной тревоге прошли еще три дня. Тайна Богатырских пещер давила меня. Родители относились ко мне ласково, показывая, что они забыли мое ночное исчезновение.

Особенно был нежен отец. Он задавал как будто бы невинные вопросы, прошупывал меня – безуспешно. Законы детского товарищества святы. Запрет не был снят Виктором, и я не имел права выдать тайну. Молчал и Пашка. И, конечно, был нем, как рыба, Яшка, приближенный к себе Неходой. Пашка замкнулся, вначале держался особняком, а потом его видели в обществе мальчишек, совершенно противоположных нам по своему духу. Измена Пашки была дурным признаком. В воздухе пахло грозой.

Отец часто уходил в партийную ячейку. Там иногда просиживал до петухов. Придя домой, отец съедал оставленный для него холодный ужин, ложился спать, и часто ночью мы слышали его бред – он выкрикивал военные команды.

И вот случилось то, что я ждал со смутной тревогой. На четвертые сутки после нашей прогулки к Богатырским пещерам, вскоре после сумерек, возле нашего дома со звоном и стуком остановилась тачанка.

Кучер, рыжий и волосатый Никита, прибывший в станицу сравнительно недавно из сечевой степи, что-то прокричал во двор таким страшным голосом, будто его резали. Мать побежала к воротам, открыла. Тачанка въехала во двор, зацепила крылом яблоню, сорвала с нее кору, остановилась. Добрые донские кони поводили опавшими боками. Мать бросилась к тачанке, вскрикнула. С тачанки сошел отец, положив большую и какую-то неживую руку на плечо матери.

– Детей прогони... Прогони детей, – сказал он сквозь зубы.

Мама прикрикнула на нас, и мы скрылись в доме, сбились у дверей столовой, прильнули друг к другу. Несчастье вошло в наш дом. Прерывистым, как от сдерживаемой боли, голосом, отец с трудом сказал:

– Сначала, Никита, привези Устина Анисимовича. Только его... Потом сообщишь в ячейку... Слышишь, Никита?

Тачанка унеслась со звоном и конским топотом.

Мы стояли в столовой. Вот скрипнула дверь, показалась рука отца, нашарила проем, уцепилась за него.

Анюта бросилась вперед, приникла щекой к руке отца. Пальцы отца разжались, опустились к голове дочери, провели по волосам два-три раза.

– Детей прогони, – еще раз попросил отец, – не надо...

Мы сжались в углу. Отец не замечал нас. Южная ночь затопила комнату.

– А ничего... не брошу... – твердо, как клятву, произнес отец. – Не сойду.

Отец опустился на табурет. Мать попросила спичек, их принес Илюшка.

Мама дрожащими руками сняла стекло с лампы, провела по фитилю спичкой. Лампа медленно разгоралась, закоптила узким черным языком. Мать прикрутила огонь, вынула из головы металлическую шпильку, повесила на стекло, чтобы не лопнуло, и снова обратилась к отцу.

– Ничего, ничего, Ваня, – сказала она, стараясь говорить спокойно. – Как же так ты неловко? Нога подвернулась?

– Не уйду... не дождетесь, – бормотал отец, прикусывая усы.

Черные от пыли капли пота скатывались по его руке.

И вот я увидел проступившую между пальцев отца густую, багровую, как пламя факела, кровь.

Я охватил лицо руками, чтобы не закричать, прижался всем телом к маленькому Коле, безучастно глядевшему на все, и сквозь пальцы, мучительно истязая себя самого, глядел на круги расплывающейся крови.

Мама увела отца в спальню. Кто-то подбежал к нашему дому. Хлопнули наружные двери. Подкатила тачанка. Кони захрапели у черного крыльца. В столовую, с чемоданчиком в руках, вошел Устин Анисимович. Из спальни вышла мать, прислонилась спиной к стене и с надеждой посмотрела на Устину Анисимовича.

Доктор оглянулся, выразительно посмотрел в нашу сторону, что означало «уведите детей», приблизился к матери, прикоснулся к ее руке:

– Тоня... надо еще лампу, тазик воды, полотенце. Держи, держи себя в руках... Тоня...

Вскоре дом наполнился людьми. У отца было больше открытых друзей, нежели скрытых врагов.

Я вышел во двор. У тачанки столпился народ.

Никита задал лошадям сена, тут же у дышла отстегнул по одной постромке и завязал их на боковине украшенных медными бляхами шлей.

Никита был в центре внимания. Он присел на стремянку, громко говорил, размахивая папироской:

– Ехали мы с четвертой бригады, заречной, к броду, кони приморились, шли невесело. Ну, знаете тот лесок, что на мыску возле брода. Как поравнялись мы с тем леском, слышу, вроде ветка хрустнула, выстрел, пуля просвистела и ушла. Я оглянулся и сказал Ивану Тихоновичу: «Стреляют». Ну, конечно, с тачанки, под нее, как иначе... А Иван Тихонович поднялся во весь рост, размахивает полевой сумкой и грозит в лесок: «Сволочи!» Оттуда опять раз-раз, не иначе – из обреза, и зацепило председателя. Беда...

– Надо было кнутом по коням и уходить после первого же выстрела, – сказал кто-то из темноты.

– Ишь ты, швидкий, уходить! Я же кажу, кони пристали... Это тебе не трактор... Да кто там?

Из-под яблони вышел начальник милиции с отцовской полевой сумкой в руках, с наганом на плечном ремне. Оказывается, он стоял под яблоней и вслушивался в разговор.

Никита узнал начальника милиции, привстал, прикоснулся пальцами к ухарски надетой кубанке.

– Не узнал вас, товарищ начальник.

– Темно, как узнать, – сказал начальник милиции и прошел в дом.

– Этот разыщет бандитов, – сказал один из слушателей Никиты.

– Разыщет... – Никита отмахнулся, и снова скрипнула под ним стремянка. – Ищи ветра в поле... Ау... Ау... Ну что ж, дончаки остыли, можно напугать.

Никита взял цыбарку, пошел к колодцу. Завизжал барабан журавля, ведро глухо ударилось о воду. Кучер дергал за бечевку, пока ведро наполнялось, равномерно – скрип-скрип-скрип – заработал ручкой. Кони почувствовали воду, тихонько заржали. В темноте блеснули зелеными огоньками их влажные глаза.

Я вернулся в дом. Болезненная жена Устина Анисимовича, которую я недолюбливал, разобрала кровать, уложила меня. Она прикоснулась худой рукой к моему лбу, что-то прошептала.

Слезы потекли по моим щекам. Вдруг полуоткрылась дверь из столовой, на пороге появился силуэт девочки. Это была Люся. Она неплотно прикрыла дверь, тихими шажками, на носках, подошла к моей кровати и присела на кончик стула. Я молчал и следил из-под полуприкрытых век за каждым ее движением. Люся посидела с минуту, потом положила свою руку на мою, лежавшую поверх одеяла. Я молчал, пораженный этой неожиданной лаской.

– Ты не спишь, Сережа, – сказала она, – почему же ты молчишь?

Я тихонько приподнял голову, чтобы не спугнуть этого легкого, как крылья бабочки, прикосновения ее нежной руки.

– Не сплю, Люся.

Девочка отняла руку, положила ее к себе на коленку. Я сел на кровати, вглядывался в Люсю, не различая лица, глаз. Только силуэт головки рисовался на фоне слабого света керосиновой лампы, проступавшего сюда из столовой, через неплотно прикрытую дверь.

Мне хотелось многое сказать этой девочке, но язык не повиновался. Да и трудно было мне в ту минуту. Она понимала мое душевное состояние.

– Тебе тяжело, – промолвила она. – Случись так же с моим папой, – она перевела дух, – я бы сошла с ума. Видно, утешать в чужом горе легче. Как ты думаешь?

Меня успокаивали ее слова, так не детски выраженные. Мне становилось легче от ее сердечного внимания. Я дал себе слово никогда не забывать ее искреннего порыва.

– Если хочешь, Сережа, – продолжала она, – я всегда буду помнить о тебе. Только прошу тебя, никому не рассказывай, особенно этим ужасным хулиганам – Виктору и Павлу...

Я кивнул головой, ее слова почему-то не вызвали во мне возмущения. Я думал: «Хорошо, что Люся пришла в темноте». Глаза мои были заплаканы. Мне не хотелось, чтобы девочка ушла.

В соседней комнате зажгли вторую лампу, в нашей детской комнате стало светлее. На своей кроватке, повернувшись к стене, спал Коля. Кровать Илюши не была разобрана. Он помогал матери.

Я услышал, что кто-то вошел в спальню. По голосу я узнал: пришли секретарь партийной ячейки, чрезвычайно деловой и несколько суматошный человек, и председатель станичного совета. Это был басовитый мужчина, коммунист, бывший партизан, вдоль и поперек иссеченный белогвардейскими шашками.

Лампа разгорелась. Теперь я хорошо видел Люсю. Она отодвинулась и, прихватив концы шелкового материнского платка, брошенного на плечи, рассматривала висевшую на стене аппликацию по басне Крылова.

Руками моей мамы был вышит журавль; он клевал красным клювом синюю тарелку, а лиса сидела на задних лапках и следила за гостем. Она почему-то напоминала Пашу Фесенко: у него были такие же жуликоватые глаза.

– Я пойду, – сказала Люся, вставая.

Я не набрался смелости попросить ее побыть со мной еще немного. Я не мог придумать слов, которые задержали бы ее и заставили присесть на кончик стула. Я был готов просидеть с ней до петухов, но всегда странно робел в ее присутствии, и это доводило меня до злости. Обычно после ее ухода сам с собой я был находчив, смел, остроумен... Теперь все улетучилось, и я сидел перед ней дурак-дураком...

Она ушла на цыпочках и притворила за собой дверь. Я привалился к стене горячим лбом.

Глава десятая. Дальнейшие события

На другой день я сидел у стола начальника милиции.

– Итак, молодой человек, они разъехались на лошадях? – спросил он и уже вторично придвинул ко мне конфетку.

– Разъехались в разные стороны, – ответил я. Начальник милиции не смотрел на меня. Его глаза были опущены. Он что-то чертил толстым карандашом на развернутом листе писчей бумаги.

– В какие стороны? – переспросил он.

– Одни поехали вниз по реке, другие вверх.

– А дальше?

– Копыта потерялись.

– Звук копыт?

– Звук.

Начальник милиции рисовал каких-то чертиков. Мое любопытство накалилось до крайности, я приподнялся, заглянул через чернильницу. Начальник ухмыльнулся уголками губ. Своими смуглыми пальцами, замаранными фиолетовыми и красными чернилами, подвинул лист для моего удобства поближе.

– Хорошо получается? – спросил он.

– Так себе, – ответил я.

– Конечно, не Репин. А вот такой рисунок поможет разыскать преступников, стрелявших в твоего батьку.

У извилистой речки, повыше точно вырисованного висячего моста, был начертан треугольник входа в пещеру и тропы, расходящиеся от нее. Маленькие лошади, напоминавшие бутылочки с хвостами, стояли близ пещеры. Затем на моих глазах рука начальника, замаранная чернилами, послала их в речку. Вскоре две бутылочки поплыли вниз, а три – вверх по течению.

– Их было пять? – спросил начальник.

– Пять.

– Одного звали Никита?

Я вздрогнул. Неожиданно догадка ошеломила меня.

– Он же не кулак, – сказал я растерянно, – он кучер. Возил меня на тачанке, давал вожжи, вырезывал мне пищики из вербы...

– Правильно. Вожжи, пищики... – Начальник тяжело вздохнул. – Кулаков-то натуральных мы давно вытурили. Тех узнать можно было ночью, на ощупь, а вот подкулачников сложнее.

Начальник постучал по столу ручкой пресс-папье. В кабинет вошел молчаливый и хмурый, как зимняя туча, человек, которого мы почему-то очень боялись. Он занимался уголовными делами и не всегда ходил в милицейской форме.

– Сучилина и Никиту-кучера взять немедленно, – сказал начальник. – Проверить в верховых колхозах, кто брал лошадей и выезжал ночью, от и до... Понятно? Черная борода и белая шапка... Надо разыскать, хотя у него приметывающиеся шиворот-навыворот... Понятно?

Начальник уголовного розыска кивнул головой и вышел из кабинета. Мой собеседник придвинул ко мне конфетку.

– Упрямый. Как буйвол. Не отравлена... гляди! – Он бросил ее в рот вместе с бумажкой, пожевал, выплюнул бумажку, и леденец хрустел, как стекло, на его крепких, кипенных зубах.

– Теперь жалко?

– Нет, – буркнул я.

– Вижу, жалко. Меня, братец, не проведешь. Профессия не та.

Начальник хлопнул ящиком стола, достал оттуда горсть конфет, насовал насильно мне в оба кармана, подтолкнул к двери.

– Твой приятель Витька гораздо разговорчивей, – сказал он, – учись жизни у него, а не у буйвола. Молчал несколько дней... Пещерный житель. – Он потрепал меня за нос. – Когда будем проводить по улице бандитов, узнай. Ошибаться нам нельзя. А то зашлем их в тартарары. Понял?

Я понял одно: отец расплатился своей кровью за мое молчание. Следовательно, не всегда нужно молчать, если тебе что-либо известно. Я понял второе: Виктор нарушил свое слово и раньше меня рассказал обо всем начальнику милиции, не предупредив меня, не посоветовавшись со мной. Он тоже пришел поздно, но его показания помогли раскрыть преступление.

Виктор, конечно, поступил правильно. Но как же с товарищеским словом? Почему он первым нарушил его?

Нужно было во что бы то ни стало разыскать Виктора. И я его нашел в совершенно неожиданном месте – на базаре.

Краснея от смущения, Виктор прикрыл какие-то вещи, лежавшие на мешке, разостланном на земле. Возле него сидели люди, продававшие старые ботинки, гвоздики, ломаный будильник, молоток, бутылку с цветной этикеткой.

В это время какой-то горный казачина в свиных постолах, рваных ластиковых шароварах подошел к Виктору.

– А чем ты торгуешь, купец?

– Ничем. – Виктор вспыхнул.

– Как ничем? – Казачина нагнулся, откинул мешок, плюнул и пошел дальше. Я увидел какой-то старый хлам.

– Ты, значит, продаешь, Виктор?

– Мать послала.

– И ты согласился?

Тогда Виктор прикусил губы, зло уставился на меня.

– А если дома жрать нечего?

– Нечего есть?

Мне показалось, что Виктор пошутил. Мне припомнилось наше недавнее ночное пиршество: хлеба целый каравай, тарань, круг брынзы. Я напомнил ему об этом.

– Пашка принес, – сумрачно сказал Виктор, – там оставалось немного. Я завернул остатки обратно в мешок и отнес мамке. Ты же знаешь, при школе нет огорода, а мы... Так-то...

Мне показалось, что я увидел Виктора впервые, и мне стало стыдно. Всегда сытый и одетый, я ни разу не поинтересовался, как живет мой друг.

Я собрался уходить, совершенно забыв, что решил обвинить Виктора в измене слову. Виктор сам догадался и напрямик сказал:

– Не обижайся на меня. Пришлось рассказать про этих сволочей... опоздали только. Батьку твоего жаль...

Я вспомнил о содержимом карманов моей курточки, помялся и нерешительно предложил конфеты Виктору.

– Не побираюсь, – строго сказал он.

– Они даром достались, Витя. Начальник милиции сам напихал в карманы.

– Иди, иди, чиж.

Вернувшись домой, я высыпал в сахарницу все до единой конфеты, прожигавшие мои карманы. Мать застала меня за этим занятием, сделала вид, что ничего не заметила, ушла на кухню. Впервые я что-то положил в буфет, а не вытащил оттуда.

Отец лежал с обнаженными руками и забинтованной грудью в соседней комнате и наблюдал за мной с одобрительным вниманием. Уходя от него, мама не притворила дверь, а я, занятый своим делом, не заметил, что за мной следят внимательные, задумчивые глаза...

Сучилина вели по улице со связанными назад руками, сообщников его не связывали. Позади Сучилина, след в след, с понуренной рыжей головой, без шапки, шагал Никита, ставший не глядеть на толпу, не отвечая на выкрики.

Я не мог понять, как этот человек, вырезывавший нам пищики в лесу, катавший на козлах, огромный, сильный, свитый из мускулов, решился на убийство человека, который ему ничего не сделал плохого.

Рядом с Никитой шли те самые люди, которых я навсегда запомнил на фоне кустов у Богатырских пещер.

Был воскресный день. Людей собралось много, не меньше, чем на смотр первого трактора.

У отца сегодня поднялась температура. Устин Анисимович утром вводил отцу сердечное. Об этом говорили в толпе, и ненависть к преступникам все нарастала.

– Эх, решить бы самосудом! – кричал какой-то старик в картузе, размахивая палкой. – Повезут в город – выпустят. Откупятся!

Преступников окружали милиционеры, пять человек. Еще два конных ехали в конвое на иссиня-вороних орловцах с подседельниками – вальтрапами, расшитыми кумачом и камкой.

Арестанты шли с понурыми головами, стараясь не встречаться глазами с людьми. Только один Сучилин поглядывал с наглой самоуверенностью, откинув на затылок кубанку. Сатиновый бешмет был расстегнут на груди до самого пояса, сверкавшего серебряной с чернью насечкой. На ногах были мягкие, козловые сапожки без каблучков, подхваченные ременными шнурками у колен.

Сучилин явно разыскивал кого-то глазами, наконец отыскал, кивнул головой. В толпе истошно заголосила его жена, пожилая, степенная женщина.

Дети Сучилина держались около матери, озирались, как зверьки. Глаза у них были заплаканы и натерты кулаками. Странно, но мне их было жаль.

Преступников подвели к милиции и посадили на мажару, на которой обычно возят с поля снопы. Верховые проводили их немного и повернули к конюшням.

Вскоре мажара пропала за тополевыми стволами, и только небольшой столбик пыли еще долго держался на шляхе.

– Не жалея их, – сказал Виктор, – они тебя не пожалеют...

Глава одиннадцатая. Первая ответственность

Проносились годы, как метеоры.

Отец выздоровел. Его враги рубили леса на севере, трудом зарабатывая себе прощение. Старела мама на наших глазах, и нелегко было наблюдать ее увядание, хотя для нас она по-прежнему была прекрасна. Тихо, как свеча, истаяла жена Устина Анисимовича, и Люся надолго уехала в Крым, к родным, которые взяли ее на воспитание.

После ее отъезда я долго не находил себе места, тоскливо бродил по знакомым местам, сидел на песочном пляже, где бродили козы, летали яркие бабочки. Несколько дней я носил повязку на указательном пальце левой руки. Палец был сожжен на пламени свечки: я поклялся Люсе в верности.

Каким-то напоминанием об ушедших вместе с Люсей королевичах были фигуры шахмат. Играть меня научил Устин Анисимович. Я безумно полюбил шахматы и на время забросил турник и параллельные брусья; шахматы и спорт казались мне почему-то несовместимыми.

Доктор исподволь подогревал мою страсть, не подозревая, что приносит мне вред, однобоко развивая мои наклонности. Играли мы обычно в тихом и уютном месте, в станичной избе-читальне, где-нибудь на столике, возле сельхозуголка, где пряно пахли пшеничные стебли, кукуруза, травы.

Устину Анисимовичу приходилось все труднее и труднее одерживать шахматные победы. И вот однажды доктор начал проигрывать мне, своему ученику, первую партию.

Его глаза беспокойно бегали по шахматной доске, останавливались на моем кулаке, где в потной ладони была зажата похищенная в результате продуманного во всех деталях хода черная ребристая королева.

Нас плотным кольцом окружали мои сверстники, дрожавшие от азарта.

Волнение мешало сосредоточиться Устину Анисимовичу, и, наконец, он признал мою победу. У шахматной доски на миг возникло гробовое молчание. Устин Анисимович вынул платок, протер очки, глаза улыбались.

– Королеву-то снял, молодой человек, за «фука», – сказал он.

«Фуком» обычно называлась провороненная пешка в «плебейской игре» – шашках. Я предложил вторую партию – реванш. Устин Анисимович согласился. Игра продолжалась полтора часа. Доктор еще больше волновался, делал поспешные, непродуманные ходы. Он проигрывал снова. Не дожидаясь, пока я загоню его короля в мертвый угол, он положил его боком, хрустнул пальцами.

Он смотрел на меня удивленно и одобрительно.

– Ба, ба, Сергей Иванович, да ты уж вырос, братец. Теперь тебя не возьмешь за ушко, не вытянешь на солнышко...

Устин Анисимович ушел, повесив палку на руку, прикоснувшись на прощание только двумя пальцами к своей старомодной шляпе.

Накануне очень важного для моей жизни – вступления в комсомол – я получил письмо из Феодосии от Люси. Письмо было написано в шутовском тоне, радовало и волновало меня.

Жизнь в портовом городе не прельщала девочку. Она вспоминала нашу Псекупскую, наши шалости и детские радости. Не забыла и о клятве на огне стеариновой свечки.

В конце письма она написала: «Ц-ю своего королевича».

Сотни раз я прочитал это письмо, спрятал в карман и задумался. Она была гораздо моложе меня. Я дружил уже с шестнадцатилетними девушками. В тетрадки я записывал разные изречения.

В кармане куртки я часто находил записки, где клятвы в любви переплетались с просьбами помочь решить задачку по математике или проверить ошибки в сочинении. И все же

тайна первой привязанности, первой детской любви была сильнее. Я готов был пойти куда угодно вслед своей, именно своей Люсе.

Жизнь позволила мне доказать свою любовь к ней, но это – в дальнейшем...

Комсомольское собрание шло к концу.

Илюша встал, прикрутил фитиль, чтобы копоть не лизала своим черным маслянистым языком ламповое стекло, обратился к членам бюро:

– А теперь следующий вопрос... Прием в ряды Ленинского комсомола Сергея Лагунова...

Мне казалось, я восходил на высокую гору: надо было пересмотреть свой багаж, от чего-то отказаться, что-то добавить. Сердце замирало. Ленин, поднимавший руку с броневика, завещал мне: «Учись!» Я давал себе клятву быть достойным членом комсомола, выполнять все возложенные на меня обязанности.

– Мы, ребята, все знаем права, данные нам государством, – сказал прикрепленный к комсомолу от партийной организации председатель райисполкома, иссеченный белогвардейскими пашками, – а как мы понимаем свои обязанности перед социалистическим государством?

Его вопрос теперь не захватил меня врасплох.

– Учиться, учиться, дойти до всех наук, если можно, превзойти их и, если нужно будет, отдать свою жизнь и знания своей Родине... отдать ей, – говорил я, будто произнося клятву.

– С завитками, но верно, – сказал предрайисполкома и забарабанил пальцами по столу. – Что ж, пора кончать, ребятки. Посчитать, второй час его мурыжите...

Я вышел обновленным человеком с заседания бюро. Рядом со мной шел Илюша. Его сильные, крепкие плечи покачивались в такт шагам.

Мы перешли улицу. Собаки лениво тявкали из-под штакетных заборов. От тополей ложились тени. В небе висела луна, огромный расплавленный шар, будто ее только-только горячими молотами отковали у огненных горнов. Тополя снова напоминали мне мачты бригов, в мечтах я плыл в будущее! Нужны только паруса, чтобы они напитались ветрами и понесли.

Мое торжественное и мечтательное состояние Илюша долго не нарушал. Он, видимо, понимал, что происходит сейчас во мне. Он это сам переживал не так давно.

– Придется тебе дать нагрузку – «ю-пэ», – сказал он.

– Хорошо, – согласился я.

– А в школе возьми спортивный кружок. Там у вас худые дела. Почти развалился. Вместе с Витькой Неходой возьми.

– Хорошо, Илюша.

– Будешь проводить пионерские костры, только, ради аллаха, не лезь в центр станицы. Выводи пионерию в лес, сами рубите дрова, жгите костры до самого неба. Приучайте детишек к натуральной жизни, к природе, развивайте мускулатуру, смелость, не бойтесь простуды...

– Хорошо, Илюша.

– То-то, – сказал Илья, – а что не так – ко мне. Помогу.

Мы подошли к дому, может быть, впервые серьезно поговорив друг с другом.

Дома неожиданно для меня было организовано торжество. Даже отец привинтил орден Красного Знамени, старательно расчесал усы и подмаслил прическу. В доме собрались друзья отца из колхоза, тут же сидели басовитый предрика, секретарь партийной организации и мои приятели – Виктор и Яша.

Под окнами ходил Пашка Фесенко. Его тоже пригласили, и Пашка долго и заискивающе жал мне руку.

– Я твоему, понимаешь ли ты, Иван Тихонович, задал вопрос на бюро, – басил предрика, накладывая на тарелку пироги с мясной начинкой: – права-то вы свои понимаете, а вот как насчет обязанностей?

– Ответил?

– Ответил. Хорошо ответил, Иван Тихонович, – басил предрайисполкома, – а делами – посмотрим.

Неслись годы-метеоры, и, наконец, пришло время ответить делами на призыв своего государства...

Часть вторая

Глава первая. Война

Война захватила меня в Крыму, на полевом аэродроме.

Враг шел с запада.

Бомбили Севастополь. Немецкие бомбардировщики пришли с румынских аэродромов, расположенных близ Констанцы. Военные объекты не пострадали. Флот был настороже. Истребители черноморской авиации отогнали противника. Флот ответил ударом по Констанце. В Румынию ходили опытные бомбардировочные экипажи. Некоторые участвовали в финской кампании.

Я получил письмо от отца. Он писал, что Николай призван в армию и уехал в Краснодар на формирование. Илья находился в кадровых танковых частях в Киевском военном округе. Яшку не призвали по болезни, Виктора Неходу, оставленного в свое время по льготе, мобилизовали. Фесенко служил во флоте на действительной. Словом, почти все фанаторийцы, сверстники мои и друзья детства, ушли на войну.

Отец писал: «Уже начали косить ячмень на южных склонах, вывели на загоны из усадьбы МТС комбайны, скоро начнем убирать в массе озимые ячмени и пшеницы. Урожай, какого давно не видали. Начали цвести подсолнухи, кукуруза цветет, но еще не наливают початки...»

Вот так просто пришла война. По-прежнему мы занимались своими делами на аэродроме, принимали и провожали экипажи. Только теперь экипажи уходили на боевые задания. Иногда не возвращались. На опустевшем месте ставили новый самолет. Аэродромный пес, преданный нашему полку, повоет, повоет на опустевшем месте и начинает привыкать к новым хозяевам и снова ждет их возвращения.

Самолеты рассредоточили с линейки, принялись строить капониры. Аэродром окружили линией противовоздушной обороны: врыли пушки, зенитные пулеметы, перевели горючее в подземные хранилища, замаскировали их сверху землей и дерном.

Стояла жаркая, без дождей, погода. В воздухе носилась пыль. Мухи осаждали нас. Война, в подлинном своем смысле, не ощущалась нами. Я раньше представлял себе войну совершенно иначе. Мне думалось, везде будет царить постоянная восторженность, войдут в быт новые, красивые, романтические фразы, по-другому сложатся отношения между командирами и подчиненными. А все стало строже, утомительней, будничней и настороженней. В природе ничто не изменилось. Как и раньше, ячмени созревали скорее на южных склонах, в положенное время наливались кукурузные початки, так же послушно следили за солнечным кругом шляпки подсолнухов.

Нас переводили в Сарабуз, на стационарный аэродром. Сюда же, на полевой аэродром, подсели истребители запасного авиаполка. Молодые пилоты весь день кувыркались в воздухе. Их переучивали на новых самолетах. На смену тупорылым машинам, когда-то считавшимся шедевром авиационной техники, пришли узконосые, тонкокрылые, быстрые истребители.

Мне не удалось еще повидать авиацию противника. Демонстративные и разведывательные полеты над Крымом не производили на меня впечатления. С каждым днем все сильнее и сильнее меня беспокоила мысль: разобьют немца, война окончится, и не попадешь на фронт, не повоюешь.

Эти настроения, очевидно, свойственные юношескому возрасту, поддерживал мой друг авиаинженер Иван Дульник. Маленький, юркий, похожий на сверло, он не давал мне покоя, разжигал меня. Не одну бессонную ночь мы проворочались на своих койках. В голове моей роились мысли о разных подвигах, которые так и не придется мне совершить. Каждый человек,

побывавший на фронте, вызывал у меня сосущее чувство зависти. Я не мог оторвать восхищенного и одновременно досадливого взгляда от играющих на солнце орденов, привинченных на гимнастерках хаки или на темно-синих морских кителях.

В конце июля меня и Дульника отправили по делам службы на один из флотских запасных аэродромов в районе Херсонеса. По пути мы попали в Севастополь. Город внешне жил обычной размеренной жизнью, если не считать следов противозвушной маскировки. Торговали магазины, в киосках продавалось пиво, по улицам двигалась оживленная толпа. На станцию приходили поезда, люди поднимались к панораме. По-прежнему стоял бронзовый генерал инженер Тотлебен, окруженный бронзовыми солдатами. Возле памятника играли дети. Няни вывозили на колясках младенцев. Зенитные установки были умело отъединены от гуляющей публики рвами и заборами из колючей проволоки, скрытой в кустарниках. Аэростаты воздушного наблюдения на день маскировались в оврагах и лощинках. Только опытный глаз мог заметить то там, то здесь серый, поблескивающий под солнечными лучами аэростатный шелк. Военные корабли приникли к пирсам, как бы слились с ними. По бухте ходили катера и шлюпки, приставали транспорты, пехота, направляемая на оборону Одессы, проходила по пристани, деловито грузилась. Уходили транспорты, сопровождаемые морским и воздушным конвоем. Мне казалось, что страна уже несколько лет воюет. Как-то быстро обвыкли люди.

Более внимательный глаз заметил бы многое, что отличало военный Севастополь от мирного: город наершился, вооружился, снял с себя белоснежно-кремовые тона и стал похож на один из ошвартованных у стенки крейсеров. Город закрылся контрольно-пропускными шлагбаумами, прощупывался матросскими патрулями. Ночью движение замирало, только шла и шла пехота, катили пушки и пулеметы. Через порт к южному крылу фронта проходили крупные силы. Ночью город был темен и тих. Изредка вспыхивала точка патрульного фонаря и сразу гасла, или поднимались вверх десятки голубых мечей.

Эти ощущения боевой красоты Севастополя пришли ко мне гораздо позже. Тогда же, потолкавшись в городе около часу, мы так и не нашли в облике крепости того, что соответствовало бы нашим понятиям о войне.

Грузовик стучал по камням. Мы молча продолжали путь к Херсонесу. Густая известковая пыль садилась на фланелевки, на бескозырки. На грузовике стоял токарный станок. Его приходилось поддерживать руками, так как он ежеминутно грозил свалиться на нас. Кроме станка, мы везли инструменты в плоских ящиках и два самолетных винта в деревянных футлярах.

На аэродроме при ночной посадке пострадали два самолета. Надо было срочно привести их в порядок.

- Не знаю, сколько это отнимет у нас времени, – сказал Дульник.
- Смотря, как разложили, а то поглядим и уедем.
- Раз вызвали – значит, нужно будет потрудиться.
- Жаль машины. И так каждая на счету.
- Ночью садились на луч. Может быть, молодняк пилоты?
- Может быть, – согласился я.

Дороги пересекали многочисленные лощинки. Грузовик подпрыгивал, нас трясло. Виднелось плато Сапун-горы, вправо от нее синели скалы Балаклавы.

Низко над морем шли два морских разведчика, одномоторные воздушные черепахи с толкающим винтом и неуклюжими поплавками.

Теперь уже было видно море, на нем – точки сторожевых судов – охрана внешнего рейда. Сверкающее море лежало перед нами по всему горизонту до Балаклавских высот.

Глава вторая. Первая встреча с отчаянным капитаном

Дульник, сидевший с правого борта, перешел ко мне, на левый. Я знал характер своего приятеля: ему не терпелось поделиться со мной какой-то новостью.

– Что узнал, Дульник?

Дульник прикоснулся рукой к курчавому затылку, хитро поглядел на меня черными глазами.

– Узнал кое-что в Севастополе, Лагунов, – сказал он.

– Именно?

– Видал, как меня остановил морячок береговой обороны?

– Видал...

– Мой приятель еще по Одессе. Ланжеронцы мы...

Мне показалось, что за этим вступлением начнется обычный восторженный рассказ Дульника об Одессе. Я попросил быть ближе к делу.

– Организуются парашютно-десантные части для Одессы, – сказал Дульник.

– Где?

– Недалеко, на Херсонесе. Приятель указал мне «позывные».

– Кто организует? Флот?

– Конечно.

– Кто именно из флотского начальства?

– Некто майор Балабан.

– Балабан? – переспросил я.

– Балабан, – повторил Дульник, – ты разве с ним знаком?

– Если только это тот Балабан, – сказал я, – отчаянный капитан. Морской пограничник.

– Он! – обрадованно воскликнул Дульник. – Абсолютно точно, отчаянный капитан.

– Неужели тот самый отчаянный капитан?

– Совпадение исключено, – сказал Дульник, – тот самый. Где ты с ним познакомился?

– Я с ним незнаком.

– Незнаком? – Дульник округлил свои птичьи глаза. – Не представлен, что ли?

– Я его даже не видел. Я только слышал о нем.

– Кто не слышал про отчаянного капитана! Я помню, на Ланжероне...

Я снова перебил Дульника:

– В детстве имя отчаянного капитана произносилось нами, как имя жюльверновского капитана Гаттераса, – сказал я. – Капитан Балабан задержал в море фелюгу контрабандистов и передал ее рыбацкой артели, где работал мой отец. Фелюгу официально переименовали в «Капитанскую дочку», но мы называли ее «Мусульманкой». Так было романтичней.

– Слабое, конечно, знакомство, но использовать можно на худой конец. Не знаю я, каков майор Балабан, но, надеюсь, мы сумеем тронуть его сердце подобными воспоминаниями. Струны сердца!

– Не забывай разницу в звании, Дульник, – сказал я ему. – Учитывая субординацию, найдем ли мы возможность добраться до этих самых струн? Я сомневаюсь...

Через три дня мы, закончив дела на аэродроме, разыскали штаб отчаянного капитана недалеко от Херсонесского музея. Дорога шла по оврагу, то там, то здесь виднелись остатки стен Корсуня Таврического, а выше, на фоне голубого свода, стояла башня Зенона.

В лощине укрывались от наблюдения с моря казармы. За колючей проволокой стояли грузовики, пушки. Бочки из-под горючего, снарядные и патронные ящики, тюки прессованного сена загромождали двор. Знойное солнце стояло в зените. Несколько чахлах деревьев не давали тени. Часовые изнывали от жары.

Владения отчаянного капитана были лишены романтической дымки.

Часовой пропустил нас во двор. Молодой морячок тащил вязку фляжек. Мы спросили его, как пройти. Он мотнул головой в сторону.

Мы пошли мимо бунтов военного снаряжения. Большими буквами на щитах было написано: «За курение – трибунал».

Возле одного из зданий, на солнцепеке, сгрудилась оживленная толпа моряков. Это были добровольцы, услышавшие о наборе и прибывшие в Херсонес к отчаянному капитану.

– Меня не примут, – сказал Дульник, пробираясь между мускулистыми высокими ребятами. – Телосложением не вышел. Никакие знакомства с «Мусульманками», пожалуй, не помогут.

Мы заняли очередь к Балабану. Дульник ушел выяснять обстановку. Через полчаса он вернулся, отвел меня в сторону. На его носу сверкали мелкие капли пота, спина под фланелевой намокла, волосатые смуглые руки были увлажнены.

– Отбирают только тех, кто имеет парашютные прыжки, – весело улыбаясь, прошептал он. – Повезло нам, брат.

– Чего же ты радуешься?

Его лицо сияло. Смеялись его черные глаза, окруженные морщинками. Веселье так и искрилось на его загорелом, узком лице.

– Не понимаешь?

– Ничего не понимаю. Мы с тобой не имеем ни одного парашютного прыжка...

– Надо иметь голову, Лагунов. А человек с головой должен знать, что парашютный прыжок – это невеста что такое. Подумаешь, парашютный прыжок! Машина вытащит тебя на пять тысяч метров в небеса, умный человек снимет дверцу в центроплане, а тебе останется только нырнуть вниз и подчиниться механизму, который отлично работает без тебя. Я говорю о парашюте.

– Какой же механизм – парашют?

– Я не хочу отвлеченно спорить, – обдав меня своим жарким дыханием, заявил Дульник. – Надо иметь голову на плечах и постараться убедить майора Балабана, что мы прыгали с парашютом. Ну, не очень много, чтобы поверил. Ты можешь сказать примерно цифру... одиннадцать, чтобы не было ровного счета, я, ну, скажем, семь. Этих цифр и держаться.

– Он потребует документ.

– Какие сейчас могут быть документы? – возразил Дульник. – Отчаянный капитан поглядит нам в глаза, увидит отвагу и зачислит. А там не наше дело. Он сам снесется с полком, с командованием. Идем, идем, Лагунов. А эти молодцы нам почти не соперники. Мало кто из них имеет парашютные прыжки.

Итак, мы решили соврать. Когда я узнал, что набирают только двадцать человек, я больше уже не колебался.

Майор вызывал по одному. Наконец очередь дошла и до нас. Наше желание протиснуться вдвоем было мгновенно и молчаливо пресечено рослым моряком-автоматчиком, стоявшим на часах.

Первым вошел Дульник. Я через дверь слышал его громкое, четкое приветствие, хлопок ладошки по шву и удары каблуков по полу. Потом он прошел в глубину комнаты, и все смолкло.

Свидание продолжалось ровно десять минут. Дульник вышел сияющий и торжествующий. Я понял: ему удалось уговорить отчаянного капитана.

– Порядок, – шепнул он мне, – давай, давай входи.

Дульник потер ладошки, подбил с двух сторон бескозырку и направился во двор с видом победителя.

Я вошел в кабинет Балабана, щелкнул каблуками, отрапортовал по форме.

Балабан стоял у окна, чуть пригнувшись, и, казалось, глядел во двор, где группа моряков от нечего делать играла в «жука». На самом деле он искоса, но внимательно и как-то насмешливо разглядывал меня.

В комнате, кроме него, находились два флотских командира, но я сразу решил, что майор, стоявший у окна, и есть Балабан. Именно таким представлял я себе отчаянного капитана. Передо мной стоял человек ростом выше ста девяноста сантиметров и весом не менее ста двадцати килограммов. На нем ладно сидел флотский костюм, сшитый у хорошего портного, – вряд ли на его фигуру нашелся бы готовый мундир. На груди его я увидел ордена Ленина и Красного Знамени, потускневшие от времени и моря. Из-под полы кителя свисал пистолет в морской кобуре из плотной черной кожи.

– Документ, Лагунов, – раздался неожиданно тонкий голос Балабана.

Я шагнул вперед, протянул майору бумагу.

Балабан быстро взял ее, развернул. В его огромных руках, с такими толстыми пальцами, что казалось, их невозможно сжать в кулак, моя бумажка показалась лепестком мимозы. Балабан помахал документом в воздухе, вернул мне, не читая.

– Сколько имеете прыжков, Лагунов?

– Одиннадцать, товарищ майор, – без запинки ответил я.

– А может быть, какой-нибудь пропустили, Лагунов? Может быть, двенадцать или тринадцать?

– Нет, одиннадцать, товарищ майор.

Балабан отошел от окна, прошелся по комнате. Половицы скрипели под его энергичными шагами. Он что-то сказал капитан-лейтенанту, сидевшему у стола. Тот наклонился к столу, записал. Когда он писал, на его новеньком нарукавном галуне мелькнули зайчики.

Теперь Балабан стоял передо мной. Я видел его насмешливые глаза, крупное, будто вырубленное из кряжевого дуба, лицо. Такой же крупный нос, выдающийся подбородок, большие мясистые губы, вероятно, безобразные в другом сочетании, здесь производили впечатление гармонии. Таким, таким должен быть отчаянный капитан, умевший захватывать фелюги, рубить под корень мачты, орать в штормовые ураганы и крепко, как медный памятник, стоять на палубе своего судна.

– Похвально, Лагунов, что ты, как патриот, решил помочь осажденной Одессе, – сказал Балабан и сделал паузу.

Душа моя возликовала. Победа одержана. Я поступаю под начало к отчаянному капитану. Затаив дыхание, я стоял перед ним, не спуская с него глаз, в которых, вероятно, сейчас горело счастье.

Балабан выудил из кармана малютку-трубочку, повертел ее в своих лапищах. Опять выдержал паузу.

– Давно ты дружишь с этим жуликом? – неожиданно спросил Балабан.

– Каким жуликом, товарищ майор?... – Я запнулся.

– А вот с этим жуликом, который хвастался передо мной на этом самом месте?

– Дульником?

– Не Дульником, а жуликом. – Балабан приподнял брови, улыбнулся всем ртом. – Сколько ты сделал прыжков? А?

Слова не сходили с моего языка. Я молчал, подавленный его пронизательностью.

– Как же вы решили обмануть старшего командира, Лагунов?

– Я сделал одиннадцать парашютных прыжков, товарищ майор, – пролепетал я, чувствуя, что проваливаюсь в бездну.

– С печки на лавку? – спросил Балабан, подавив смех, играющий на его лице.

Я молчал.

– У тебя есть совесть, Лагунов, – сказал Балабан, – а Дульник, твой приятель, кажется, потерял ее по дороге к Херсонесу. Жулик он, жулик!

– Наш обман был продиктован самыми хорошими намерениями. – В моем голосе что-то дрогнуло.

Ноги уже окончательно не подчинялись мне, в глазах помутилось. Майор представлялся мне какой-то огромной, расплывчатой и колеблющейся массой. Я так сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони, и пришел в себя.

Балабан понял мое душевное состояние.

– Ничего, Лагунов, – сказал он дружелюбно, – будем знакомы. – Он протянул мне свою лапищу с растопыренными пальцами. – Иди, Лагунов, – Балабан изучал меня от пяток до макушки, – пока наш альянс не состоялся. Пойми, у нас нет времени сейчас подготавливать вас. Нам нужен готовый товар, понял? А в дальнейшем, милости прошу, не забывай майора Балабана.

Я вышел в каком-то тумане. Дульник поджидал меня у выхода.

– Ты рассказал ему про «Капитанскую дочку»? – любопытствовал Дульник. – Про «Мусульманку»?

Я не отвечал ему. Мы шли по двору, миновали часового, поднялись в гору. Свежий бриз овеял мое лицо. Ворота и стены древнего Херсонеса стояли, залитые ослепляющим солнцем. Море искрилось и переливалось, как бы засыпанное до дна драгоценными камнями. А там, далеко, сражалась Одесса. Сражалась и будет сражаться без меня.

Дульник правильно расценил мое молчание.

– Я вижу, ты не принят, но я?

– Балабан велел мне передать тебе...

– Ну, ну... – перебил Дульник.

– Что ты жулик.

– Все ясно. – Дульник сокрушенно вздохнул, присел на камень. – Ты не сумел до конца держать марку.

– Балабан видит на три сажени в землю. А ты решил его провести. Он всю жизнь имел дело с жуликами, с контрабандистами, с пиратами.

Дульник не мог скрыть своего разочарования.

Его одинаково печалили и несбывшиеся мечты и провал придуманной им хитрости. Мы вернулись в Сарабуз. На аэродроме мы решили ни с кем не делиться нашей неудачей. Эта первая тайна скрепила нашу дружбу.

В Сарабузе меня ждало письмо Анюты.

Благотворную радость и душевное спокойствие приносили мне письма сестры, дышавшие милым и неуловимым, как запахи белой акации, девичьим очарованием.

О! Конечно, ей я опишу мою встречу с Балабаном. Она была слишком мала тогда, на Черном море, чтобы помнить об отчаянном капитане. Но сколько раз ей, Виктору Неходе и еще маленькому существу с белокурой косичкой я рассказывал фантастические истории, связанные моим воображением с именем отчаянного капитана.

Я не буду описывать Анюте своего позора. Я придумаю, что написать, призвав на помощь древнюю землю херсонистов – мореплавателей и виноградарей, алмазные волны Черного моря, омывающие Прекрасную гавань, как назывался Севастополь; воспользуюсь повестями Дульника об Одессе и все свяжу с образом Балабана. Пусть почитает Лукиана, его «Правдивые истории», и найдет в античном коне-коршуне, летающем на грифе, прообраз сегодняшнего Балабана. Кони-коршуну обязаны были облететь страну и, завидев чужеземцев, отводить их к царю. «Каким образом проложили вы дорогу, чужеземец, и явились сюда?»

«...Осиротел наш дом, Сережа, – писала Анюта. – Нет тебя, нет Илюши, нет Коли. Мама крепится, но поддалась горю. Она тщательно следит, чтобы никто не трогал ваши постели,

которые застланы так же, как в день вашего отъезда. Никто не прикасается к вашим вещам. Мама разрешила мне пользоваться твоими книгами, так как я уже подросла. Каждое утро мама рассказывает нам свои сны. Они у нее очень логичны. Мне же всегда снится какой-то сумбур. Вчера, например, мне снилось, что у нас дом из множества комнат, везде стеклянные двери, нет замков, и тысячи воров врываются в нашу квартиру. Я вижу их, пытаюсь кричать, а голоса нет. Горло схватило спазмами. А воры комкают ваши постели, заворачиваются в ваши одеяла и проходят сквозь стеклянные двери. Я не могу вырвать из горла ни одного крика. И вот гляжу, надо мной наклонилась мама, теребит меня: „Аня, Аня, ты кричишь во сне. Страшно!“ Я не стала рассказывать маме, что я видела во сне. Она придает большое значение снам. И трудно ее разубедить в подобных предрассудках. Не надо ее расстраивать. Советую почаще писать о себе. Ты не можешь представить, сколько радости доставляют нам твои письма. Илья важничает, скуп на подробности. Неужели он считает, что, поделившись своими мыслями о нас, он раскроет военную тайну? А может быть, ему просто некогда, и я напрасно на него нападаю?

Отец все время в поле. Урожай небывалый. Приходится всем нам заниматься уборкой. Пшеница курганами по всем токам. Над полями иногда пролетают немецкие самолеты. По моему, разведчики. Идут на большой высоте, не бомбят и не стреляют. Видна ли им наша пшеница?

Виктор ушел в армию. Его мать частенько приходит к нам. Долго разговаривают две матери. Воюешь ли ты уже? Или по-прежнему „хозяин“ самолета? Фанагорийка пересыхает, но возле скалы Спасения по-прежнему отличные купанья. Я научилась прыгать в воду с той самой вербы, с какой прыгал ты. Поздравь свою Анюту...»

Глава третья. Парашютисты

Если бы я мог писать Аняте, не считаясь с мнением военной цензуры, я бы писал так:

«Милая сестра!

Во мне все поет и ликует. Я вторично попал к Балабану, и он принял меня как старого знакомого. Наша встреча состоялась теперь не на Херсонесе, а на Каче. Вместе со мной был Дульник, мой добрый приятель-одессит, с ним легче на войне.

Капитан-лейтенант, помощник Балабана, вызвал нас по списку, тому самому списку, что был составлен на Херсонесе. В списке были обозначены все те рослые ребята, которые хотели попасть к Балабану в первый набор. Мы встретились теперь не как конкуренты, а как добрые знакомые, с коими придется разделить не один боевой день и разломать пополам не один сухарь.

Сто человек было отобрано в парашютно-десантные части. Мы с Дульником попали в эту сотню. Ты посмотрела бы, что за молодцы, один к одному, эта сотня, отобранная отчаянным капитаном. Мне думается, он из-за своего высокого роста всех рослых ребят подбирает. Пожалуй, только один Дульник отличается от членов нашей парашютной сотни.

Когда мы выстроились на аэродроме в Каче и подошел Балабан, была подана команда „смирно“.

Балабан оглядел всех, пройдя перед строем, скомандовал „вольно“, улыбнулся и сказал вслух с большим удовлетворением:

– Дикая дивизия!

Завтра нас вывозят для парашютных прыжков. Время не ждет. Противник форсировал Днепр у Херсона и подошел к Перекопу. Нам сказали, что в авангарде идет 29-й горнострелковый корпус и танковый корпус „Великая Германия“. Это отборные войска Гитлера. Танкисты „Великой Германии“ используются для его личной охраны...»

Я говорю о письме, не посланном Аняте. Может быть, его просто некогда было писать. Противник оказался гораздо сильнее, чем мы, многие, предполагали. Армия отходила в глубь страны. Проводился глубокий завлекающий маневр, который был по плечу только сильному духом народу.

Бронетанковые и механизированные войска противника разливались по полуострову. Глубоких рек, пригодных для оборонительных рубежей, в Крыму нет. Горный кряж окантовывает только южное побережье и северными своими отрогами обрамляет Севастополь. В остальном полуостров – равнина.

В учебном классе перед нами были раскрыты эти особенности полуострова на макете.

Общей тактикой занимались с нами другие командиры. Балабан же проходил с нами исключительно тактику действий парашютных войск.

Сегодня был урок майора.

– Парашютно-десантные войска обычно используются при активных наступательных действиях, – говорил нам Балабан, расхаживая по классу, – или для диверсионных, дерзких операций в тылу противника при устойчивой обороне. Парашютно-диверсионное дело чрезвычайно интересное, как я уже сказал, дерзкое, где и группе и каждому индивидуально предоставляется большая свобода действий. В наших войсках – особенно – найдется возможность испытать качества советского человека и применить его храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе, инициативу, сметку. У нас боец не может быть нытиком, или трусом, или паникером, поддающимся на разные провокации. Вы должны воспитывать самые стойкие и боевые черты своего характера. Много значит и физическое развитие. Придется иногда вступать и в единоборство с врагом, умело используя холодное оружие, не производящее шума. Я говорю о кинжале, верном спутнике парашютиста-диверсанта. – Балабан вытащил кинжал. – Кроме

парашютных прыжков, вы должны знать тактику ведения боя, а именно борьбу. Обращу ваше внимание на джиу-джитсу, бой невооруженного с вооруженным, владение кинжалом. Товарищ Дульник, как вы будете действовать своим кинжалом, если это понадобится из тактических соображений вашего боевого задания?

– Я буду бить врага прямо, – не задумываясь, выпалил Дульник.

– Куда прямо, Дульник?

– В грудь, товарищ майор.

– Грудь человека – крепкая штука, Дульник, – сказал Балабан, посмеиваясь, – грудь напоминает природно сделанный щит.

– Я буду стараться бить его в сердце, – не сдавался Дульник.

– А он прикроет свое сердце рукой, поставленной вот в такое положение, – Балабан сделал быстрое движение левой рукой, вынеся локоть согнутой руки на уровень брюшных мышц.

Дульник внимательно наблюдал за ловкими движениями майора.

Ему представлялось непостижимым, как он справится своими короткими руками с этим колоссом. Дульник смущенно молчал.

Балабан приказал принести манекен, одетый в форму немецкого парашютиста. У чучела, набитого ватой, были руки, и оно вращалось на коренном винте.

– Надо целиться между ключицей, сверху, – продолжал Балабан и ткнул туда своим огромным пальцем. – Вот так! – Балабан бросился к манекену и нанес два молниеносных удара кинжалом как раз в те места, куда только что указывал его палец. Из прорезанной материи вылезла вата.

– Если враг поднял левую руку, можно бить в сердце. – Балабан подозвал Дульника, приказал: – Подними-ка чучелу левую руку. Подними и моментально брось.

Балабан бросился на пол и пополз, зажав в зубах кинжал. Мгновенно потерялось ощущение массивности его фигуры. Он пристально смотрел на чучело. Дульник следил за каждым движением командира. Вот Балабан моргнул, Дульник поднял левую руку манекена и отпрянул назад. Балабан прыгнул, взмахнул кинжалом, рука чучела упала вниз. Кинжал майора торчал в области сердца.

– На этого мужчину уже фюрер не может рассчитывать, – сказал Балабан, отряхиваясь от пыли. – Прошу осмотреть прием, товарищи курсанты.

Мы подходили по одному к манекену, щупали кинжал, отходили. Удар был нанесен с математической точностью.

– Можно бить сзади – под лопатку, точно под лопатку, – продолжал Балабан, – можно бить и в грудь, Дульник. Только целить между ребер, а поэтому советую изучить анатомию. В живот попадешь, тоже не помешает. Только всегда учитывай пояс: лучше целить ниже. – Майор притворно вздохнул: – Если бы ваши мамы узнали, чему вас учит майор Балабан, они бы никогда не пригласили меня на пирог. Война – дело кровавое, товарищи. Кончится все, отпустим вас по домам, – тогда забудьте все, чему сегодня учил вас майор Балабан. Прошу, Лагунов, к чучелу. Вынимайте свой ножичек... Э, что же вы его так оскобили. Маскировочная краска, которой сверху отравлен ваш кинжал, безусловно для врага не гигиенична, но она делает кинжал незаметным. Я лично считаю, что блеск кинжала в старинных романах является упущением. Ваш партнер никогда не должен знать, какими именно средствами вы пользуетесь, отправляя его на тот свет. Кинжалы приказываю наточить, а потом отравить специальной краской, которую попросите у своего старшины. Итак, представьте, Лагунов, что этот мужчина очень ловок, знаком кое с какими приемами, изложенными вам выше; вам следует его в хитрости превзойти. – Балабан показывал на чучеле приемы рукопашного боя. – Бросайтесь на него! В таком положении можно допускать шестой прием джиу-джитсу. Не так! Не так! Теперь он увлекся, поднял автомат, его сердце свободно. Прыжок! Отлично!

Мой кинжал торчал в том же месте, откуда незадолго перед этим Балабан вытащил свой. Я тяжело дышал. Майор заметил и это. Он вынул из бокового кармана золотые часы, взял мою руку, подсчитал пульс.

– Ваша энергия пригодится на более полезную работу, Лагунов, – сказал Балабан. – Если вы так будете себя расходовать, вы испортите себе сердце. Так нельзя. Я думаю, война может затянуться, и советую вам расходовать свою энергию равномерно. Идите на место, Лагунов. Вы не краснейте. – Он указал на чучело. – Тетя вашего партнера может спокойно заказывать заупокойную мессу. Стало быть, товарищи, мы бегло познакомились с холодным оружием. Завтра мы познакомимся с огнестрельным оружием – автоматом, пистолетом. Нам предстоит еще изучить подрывное дело, тактику ведения боя после групповой сброски и многое другое.

После обеда продолжали рыть щели. Аэродром немцы уже бомбили. Земля плохо поддавалась лопате, казалась прессованной. Чернозем перемежался с мелкими камешками, и копать было очень трудно. Кто-то назвал эту землю «грельяж» – за сходство по своему строению с известным сортом конфет. Рыть щели и траншеи называлось теперь «есть грельяж».

Солнце палило немилосердно. Таяли легкие облачка. Даже море не приносило прохлады. Мы шутили: эта погода заказана неприятелем для действий авиации.

Под руководством старшин мы рыли зигзагообразные щели. Аэродром постепенно пустел. Как обычно водится, вначале тронулась на колесах «земля», то есть наземное хозяйство. Уходили морем: проскочить сушей на Керчь было уже трудно.

Улетали самолеты. На аэродроме оставались истребители. Они должны были прикрывать эвакуацию, а затем перелететь на херсонесские аэродромы.

К вечеру страшно ныли кости. Ладони от работы покрылись волдырями. Досаждала липкая, мелкая мошкара, обычно с заходом солнца начинавшая массовые атаки.

Ночью долго не могли заснуть. Стреляли зенитки Севастополя. Небо по горизонту освещалось отдаленными зарницами. Раскаты орудийного грома создавали тревожное настроение.

Мы говорили о Балабане, о сегодняшнем уроке, о «пироге». Каждая из наших матерей в страхе зажмурилась бы, увидев, как ее сын бросается с кинжалом в руке, чтобы поразить человека в сердце. Колыбельные песни их были полны ласки и нежности. И все же учитель Балабан, сменивший наших добрых преподавателей мирных наук, мог рассчитывать, что мы сумеем постоять за себя. Это знали и наши матери. Они будут рады, если в дом придет майор Балабан, и на столе действительно появится пирог. Вряд ли наш грузный майор думал в ту ночь, что его первый урок вызовет столько разговоров.

Потом с пылом восприимчивой юности мы стали обсуждать детективные романы, о которых упомянул Балабан. Кто-то признался, что однажды прочел, не отрываясь, разбухшую, как опилки в воде, серию «Пещеры Лейхтвейса». Конечно, заговорили о графе Монтекристо, о сыщиках Ник Картере и Нат Пинкертоне, читанных украдкой от старших.

Большинство моих новых товарищей имели среднее образование, многие пришли во флот из высших учебных заведений. В специальные части отбирались крепкие, здоровые, грамотные люди.

В полночь налетели бомбардировщики. Поднятые по тревоге, мы спрятались в щели. Ожидали немецких парашютистов. Наши прожекторы торопливо скользили по небу. Для борьбы с парашютистами предназначались мы. У нас еще не было обещанных автоматов. Кроме кинжалов, у нас были три пулемета «максима» и трехлинейные винтовки; некоторые из них требовали починки.

Освещенный прожектором, ринулся вниз пикировщик. Воздух прорезал свист бомб. Сильно трянуло землю. За первым пикировщиком – второй, потом третий. Прожекторы, вероятно, ослепляли пилотов: бомбы не попадали в цель. Безумолчно трещали крупнокалиберные пулеметы, а когда пикирующие самолеты опускались ниже, вступали счетверенные пулеметы мелких калибров.

Наконец бомбардировщики ушли. Их провожали зенитки. Пролетели цветные снаряды зенитных автоматов, погасли в воздухе, и наступила темнота. По аэродрому расстился дымок, пахло пылью и гарью. Под ногами звенели пустые гильзы, будто их сгребали железной лопатой. Меня немного пошатывало, болел затылок. Светящиеся точки электрических «карманок» вспыхивали и гасли, как светляки. При помощи этих фонариков патрульные собирали сброшенные листовки.

– Еще будем есть пирог с начинкой, – сказал я Дульнику.

– Пронесло, – ответил он.

– Пошли в душ!

В душевой уже плескались ребята. Загорелые, мускулистые торсы обливала светящаяся пузырчатая вода. Под каждым рожком толпилось по несколько человек.

Ребята нервно пересмеивались, делились впечатлениями. Никто не признавался, что было страшно, но никто и не бахвалился. Мы уже понимали, что к войне надо относиться серьезно. По мокрым деревянным решеткам, прикрывшим бетонный пол, шлепали босые ноги. В слабом свете электрической лампы, затуманенной испарениями, поблескивали намыленные тела.

Саша Реутов, подражая Яхонтову, которого мы слушали по радио, читал «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». В Крыму после бомбежки, под горячим душем, мы слушали Маяковского! Никогда не мог предположить поэт, что его стихотворение о мирных, будничных днях будет так уместно в военных условиях. Оно заставляло сильнее ненавидеть врага.

Саша Реутов, бледноватый, с немного раскосыми глазами моряк, был прислан к Балабану по рекомендации комсомольского бюро тяжелого крейсера «Молотов».

Мне удалось познакомиться с Сашей только на Каче, в первый день после моего зачисления в группу.

– Балабан – это сокол, – сказал тогда Саша.

– Медведь, а не сокол, – пошутил я.

– Я рассматриваю человека не только с фаса, – отшутился Саша, – внутреннее оборудование обычно стоит гораздо дороже.

Я спросил Сашу, почему он говорит о человеке, как о здании.

– Я готовил себя к другой профессии, – сказал он, – хотел быть архитектором. А теперь придется летать под шелковым зонтиком. Отсюда виден Севастополь. Ты знаешь, что сделали с ним англичане в 1854 году, а? Они убили у нас Нахимова, Корнилова, Истомина, десятки тысяч хороших русских людей – солдат и матросов. Вот и теперь Черчилль выступил по радио – будем поддерживать Советскую Россию, а где их поддержка? Англия сама на Севастополь зарится, – это мое убеждение. Севастополь мне дорог 1854 годом. И теперь мы всем покажем, что такое Севастополь. Я просил послать меня в Черноморский флот, потому что здесь Севастополь... У меня от одного имени – Севастополь – ползут мурашки по спине!

Дульник уверял, что Саша вяловат, слишком мечтателен и не способен на героические дела.

– Поглядим в деле, увидишь, что я прав, – говорил он. – Читать Маяковского – одно, а бить кинжалом в ключицу – другое.

По-моему, Дульник чувствовал к Саше неприязнь просто от дружеской ревности.

Глава четвертая. Навстречу врагу

В двенадцать часов дня проиграли боевую тревогу. Мы быстро построились. Ждали Балабана. Вынесли ящики с гранатами, коробки запалов: нам было приказано запастись «карманной артиллерией».

Такие приготовления не входили в цикл наших повседневных занятий. Сегодня намечались учебные парашютные прыжки с «ТБ-3». Зачем же гранаты?

– Кажется, запахло жареным, Лагунов, – сказал Дульник.

Лица у многих побледнели. Кое у кого выступили мелкие росинки пота.

– Взять бушлаты, саперные лопатки и «энзэ», – приказал старшина Василий Лиходеев, черноморец, кадровый моряк, участник одесской операции.

Сомнения окончательно рассеялись – идем на фронт. К нам пристроились вооруженные винтовками несколько десятков человек из состава аэродромной службы. Им придали станковый пулемет, блестящий от свежей краски, и два ручных – системы Дегтярева. У наземников сохранялся присущий младшему техсоставу полугражданский вид. Их руки и брезентовые робы были в машинном масле. Они смущенно переглядывались, недоуменно пересмеивались.

– Их смущает новое ампула, – сказал Дульник. – Они нацелились на Кавказ, на новые базы, а их – черту в лапы.

– Неужели нас спаруют с ними? – спросил один из наших.

– Для контраста, – сказал Саша.

Лицо Саши по-прежнему было бледно, но он держался спокойно и несколько скептически. Казалось, он смотрел на все как бы со стороны. И все же у меня было впечатление, что он раньше многих из нас был подготовлен к этим событиям. Он не будет крикливо выделяться, позировать, свои обязанности выполнит разумно и не хуже других. Свое маленькое дело он сделает хорошо.

Вышел Балабан. Я заметил, что он волнуется. Майор передал приказ о немедленном выступлении в район Бахчисарая.

– Я пожелаю вам успеха, – сказал Балабан, – и... до встречи.

Мы поняли: Балабана с нами не будет. Мы поступили в подчинение армейского начальства.

Прощай, Кача! Прощайте, голубые мечты, как называли мы свою будущую профессию. Из-под колес грузовиков летела галька, поднималась пыль. Ехали молча. Каждый думал о своем.

На Севастопольском шоссе наша колонна влилась в общий поток машин, орудий, бензозаправщиков, конных обозов. Густая едкая пыль держалась, как дым. Над шоссе на низких высотах патрулировали «петлякозы». Последний раз я увидел залив Северной бухты, мачты и трубы военных кораблей, портовые краны, хоботы землечерпалок и море, ничем не отделенное от одноцветного с ним неба.

Я с грустью провожал глазами Севастополь, разбросанный, на посторонний взгляд, вероятно, неприветливый, каким он виден с Мекензиевых гор.

Я закрываю глаза и вижу поднимающуюся над Корабельной стороной шапку Малахова кургана, высоту Исторического бульвара, круглое античное здание Панорамы, каменные форты у входа в бухту, будто наполовину утопленные в воде. И образ Севастополя не оставляет меня, даже когда по обоим бокам бегут рыжие склоны Мекензии. Это охранные сопки, обветренные и загадочные, униженные скупыми кустами, которые кажутся маскировочной сетью, прикрывшей грозные форты крепости.

А вот и Дуванкой – унылое село, спрятавшееся в лощине среди низких ущелистых гор. Пожалуй, ни одного дома в этом татарском селе не увидишь из дерева, ни одного забора. Все

камень, хороший камень, не нуждающийся в облицовке, а при кладке – и в цементе. Кажется, что это один из восточных фортов крепости, замаскированный под село, настолько странными кажутся мне люди, решившие поселиться и провести жизнь в этом безотрадном ущелье прямо у шоссе, на ходу и на виду прохожих и проезжих.

В Дуванкое находился внешний контрольно-пропускной пункт сева­стопольской зоны. Машины к фронту пропускали свободней, но идущих в город подвергали тщательной проверке.

Все вокруг было затоплено войсками, обозами. Кое-где на домах висели флаги Красного Креста. Возле них сгружали раненых. Я видел забинтованные руки, перевязанные головы, земля­стые, запыленные, давно не бритые лица солдат. Медицинские сестры, девушки в зеленых гимнастерках, подпоясанные ремнями, иногда и с пистолетами у бедра, переносили раненых, отгоняли мух.

Прямо возле дороги, у фонтана, на котором была высечена фамилия строителя и изрече­ние из Корана, санитар песком начищал кастрюли. Его руки были в копоты, пилотка торчала из кармана. Щуплый человек с интендантскими петлицами раздавал из мешка табак. В руках интенданта была ученическая тетрадка, сложенная пополам, и цветной карандаш. Табак разда­вался без веса, горстями. Многие просили подбавить, и интендант, занятый отметками в тет­радке, махал рукой, как бы разрешая. Тогда солдат со скаткой через плечо и с винтовкой в руке запускал пальцы в мешок. Его называли по фамилии, кричали: «И меня не забудь!» Интендант, заметив чрезмерное усердие, бросался к мешку, пытаясь отделить что-либо из горсти. Общий хохот сопровождал его действия. Солдат спрыгивал на землю, к нему тянулись десятки рук.

На горах, поднимавшихся над Дуванкоем, торчали стволы замаскированных зенитных орудий. У грузовика военторга толпились солдаты и офицеры. Покупали мыло, целлулоидные воротнички, крем для бритья, английские булавки, кисеты из дешевой ткани. Так же, как в любом мирном городе, приценились, щупали товар, обсуждали, платили деньги, которые про­давец – чубатый, веселый парень – складывал кучкой на картонке.

Проехал генерал на открытом «линкольне», на котором еще сохранился флажок «Инту­риста». «Линкольн» по-хозяйски покричал. Часовые контрольного пункта козырнули гене­ралу. В задке машины сидел раненый полковник, закрыв лицо руками. Его голова была плотно забинтована. На груди было несколько боевых орденов. Молоденький лейтенант всячески уха­живал за полковником. Между коленями у юноши была зажата бутылка с Боржомом, рядом лежал граненый стакан. За ремнями тента машины торчали пачки газет «Красный Крым».

Через Дуванкой шли войска к фронту. Я замечал бушлаты и бескозырки. Севастополь посылал морскую пехоту. Запыленные, увешанные гранатами, проходили моряки. Короткий привал у колодцев – и колонны выходили на изгиб шоссе и скрывались между обсыпанными пылью деревьями и каменными домами.

Никто не приветствовал войска, идущие к линии боя. Татары безмолвно и угрюмо сле­дили за ними. Но это не было проявлением восточной сдержанности. Во взглядах, которые они бросали в нашу сторону, чувствовались недружелюбие и плохо скрытая радость. Некото­рые женщины были одеты в бешметы с длинными и узкими рукавами, в платки, повязанные у пояса, и в широкие цветные шаровары, стянутые у самой ступни. Татарки почему-то были одеты празднично и в татарские костюмы, будто стараясь отделить себя от русских женщин, вынужденных задержаться в Дуванкое, лежавшем на пути эвакуации.

Война предстала передо мной как тяжелая, каждодневная работа-лямка: кровь, мухи, пыль, грубые шоферские окрики. И полководцы должны были эти будни, усталость, раны, недоедание и недосыпание обратить в победу.

За Дуванкоем мы слезли с грузовиков и двинулись походным маршем. Машины были отданы беженцам.

– Как дела, архитектор? – спросил я Сашу, шагавшего рядом со мною.

– Каждый воин тоже архитектор: он должен правильно построить войну.
– И завершить ее победой?
– Высокое здание начали строить, – сказал Саша, – до крыши далеко.
– Кончились шелковые зонтики, – сказал Дульник.
– Думал парить в поднебесье, а опустился на землю. – Саша с доброжелательной улыбкой поглядел на маленького Дульника. – Хотел оторваться от пыли, от земли.
– Я никогда не был похож на Антея, Саша.
– Не сомневаюсь.
– Меня интересует одно: получим ли мы обещанные автоматы? – сказал Саша.
– Мечтаешь об автомате? – спросил я.
– И о маленькой пушечке, – сказал Дульник.
– Тебе самый раз дотянуть гранаты.
– Гранаты – оружие ближнего боя, – философствовал Дульник. – Чтобы разгрузить свой магазинчик, надо еще иметь близко возле себя покупателя. А пойдешь доберись до него!

Наконец мы дошли к указанному пункту. Это было где-то в долине реки Качи. Высокие пирамидальные тополя, видевшие, вероятно, еще екатерининский поезд, стояли у дороги.

В яблоневои саду расположилась армейская пехота. Деревья были аккуратно окопаны, на стволах подвязаны соломенные жгуты для предохранения от вредителей. Листья уже осыпали землю. Кое-где на макушках яблонь сохранились плоды.

Недавно сад бомбили. Виднелось несколько свежих воронок, как след от гигантского сверла. Сшибленные яблоневые кроны еще не завяли, из расщепленного ствола сочился сок.

Красноармейцы спали на земле, подложив под головы скатки, осыпанные известковой пылью.

Канонада стала слабее. Где-то впереди шла артиллерийская перестрелка. Нам сказали – у Бахчисарая. От солдат мы узнали, что в направлении Керчи отходит с боями 51-я армия генерала Крейзера, а где-то вблизи сражается Приморская армия генерала Петрова, известного нам по обороне Одессы. Бойцы точно не знали, где действует Крейзер, где Петров и кто куда отходит. Батальон, расположившийся в саду, до этого квартировал в долине Бельбека и был предназначен для борьбы с воздушными десантами.

Солдаты рассказали нам, что у них тоже есть пулеметы, но нет минометов и бутылок с зажигательной жидкостью. Бойцы были обучены обращению с обычными пивными бутылками, наполненными бензином. Этой несложной премудрости они обучили и нас чрезвычайно быстро.

Бутылка, налитая доверху бензином, закрывалась паклевой пробкой. Пакля быстро, как обычный фитиль, пропитывалась бензином. При приближении танка на расстояние броска надо было поджечь спичкой паклевую пробку и сейчас же бросить бутылку на танк. Бутылка разбивалась, бензин загорался, пламя охватывало вначале наружную обшивку, а потом через щели проникало внутрь. Команда танка либо погибала от взрыва находившихся в танке боеприпасов, либо из винтовок уничтожалась нашими солдатами, когда экипаж оставлял танк.

Солдаты обучились тактике борьбы с воздушными десантами, устраивали препятствия в местах, удобных для приземления транспортных самолетов: насыпи из земли, завалы из деревьев, колья. Пришлось, пришлось потрудиться этим солдатским рукам!

Бойцы, узнав, что мы готовились быть парашютистами, с состраданием оглядывали нас.
– Охотиться за вами будут, как за волками, – говорил скуластый боец по фамилии Тиунов. – Против вашего брата, парашютистов, – мотоциклы, самокаты, бронемашины, собаки. У вас что? Только личное оружие, азарт и свои ноги. Весь автотранспорт на ночь заводится в укрытия, под охрану, бензин из баков сливается, а бывает – снимают и прячут колеса. Ну, каково? Что старается проделать немецкий парашютист в первую очередь? Создать панику. Как? Находит телефон, начинает: «Симферополь взят! Бахчисарай взят! Керчь горит! Сева-

стополь тоже». По телефону можно ужасную панику развести. Поэтому учили нас перехитрить любого. Нашим батальоном командует капитан Лелюков. Въедлив на всякие выдумки. Вот уж въедлив! На учениях столько вводных дает, ног лишишься. И всегда будь начеку, как суворовский штык. Стою я раз на посту, возле меня, конечно, аппарат. Слышу, пищит зуммер. Я снял трубку, слушаю. «Немедленно в штаб». Исполняю приказ: сломя голову – в штаб. Встречает на крыльце капитан: «Кто тебя вызывал?» Рублю в ответ по слогам: «Явился по вашему вызову, товарищ капитан!» – «Не снимал я тебя с поста и не имею на то права», – говорит капитан Лелюков. «Тогда кто-то другой из штаба, фамилия, помню, на „ов“ оканчивается. Мне показалось, вызываете вы, товарищ капитан». А он отвечает: «Трое суток ареста за самовольный уход с поста, за „ов“ и за то, чтобы больше ничего не казалось. А при повторе – трибунал». Ведь оплошал-то я от переусердства. На «губе» уже продумал вину, учили же: подозрительные вызовы обязательно надо проверить...

– Как? – спросил Дульник.

– Обратным вызовом, – ответил солдат. – Не поленись, скажи «слушаю», а сам перезвони. Ведь Лелюков-то лично меня не вызывал, подстроил. Звонили-то мне на пост не из штаба, а из второй роты. А все капитан. Проверьте, мол, Тиунова, какая у него стойкость и внимание к урокам.

Строгая пожилая колхозница в чистеньком ситцевом платье принесла ивовую корзину яблок. Она опустила корзину на траву, сказала:

– Кушайте, ребятки.

Женщина стояла под яблоней, опустив жилистые, крестьянские руки, покрытые сильным крымским загаром, и смотрела на нас. А мы с наслаждением ели пахучий крымский шафран с шершавой, как замша, кожей, с твердой и пряной мякотью.

– Я еще принесу, – сказала женщина и пошла по дорожке, протоптанной солдатскими сапогами, к постройкам, где расположились полевые кухни.

– Мы в этом колхозе, видать, за два дня уже тонны три яблок съели, – сказал Тиунов, раскусывая яблоко и разглядывая сердцевину с черными зернышками, – и все вот так, корзинка за корзинкой. И все она, своими руками носит. Никто из нас даже во сне самовольно к яблоне не потянулся.

И вот подошел сам Лелюков, наш новый командир. Мы встали. Лелюков поздоровался с нами. Мы ответили. Капитан скомандовал «вольно» и как-то исподлобья, быковатым взглядом осмотрел всех нас. Казалось, из-под взгляда этих серых, навывкате глаз, насмешливых и недоверчивых, не ускользнули даже те из наших товарищей, которые не успели надеть башмаки и стояли позади, стараясь спрятать босые ноги.

Передо мной стоял тот самый Стенька Лелюков, которого я видел последний раз на черноморском рыбацьем взморье. Лелюкову тогда было примерно двадцать пять лет, сейчас – лет тридцать семь. Он постарел: исчезла юношеская округлость щек, кожа загубела, на лоб легли морщины, взгляд стал строже, злее, подозрительнее.

Видимо, Лелюков служил в армии еще до войны, раз он имел звание капитана и ему доверили командование батальоном. Обмундирование его было обношено и пригнано, как у всякого кадрового командира. Пистолет в обтертой кобуре, планшет с захватанными кнопками у целлулоида, выцветшие петлицы и нарукавный галун подтверждали мои предположения.

Лелюков пытливо рассматривал нас, и в его взгляде можно было прочесть: «Хороши вы, ребятки, морячки. А как послушны? Не подумайте, что вот, если перед вами армейский капитан, так я вам и позволю задираться. У меня руки крепкие, и я тоже не дурак в морском ремесле...»

Лелюков обратил внимание на Сашу: почему-то с первого взгляда, несмотря на свое отличное телосложение и приличный рост, он не производил впечатления военного человека.

– Ваша винтовка?

– Есть моя винтовка, товарищ капитан, – бойко отрапортовал Саша.

Лелюков принял из рук Саши его трехлинейку, отжал затвор, вынул его, посмотрел глазом в ствол. Винтовки были выданы нам недавно из мобилизационных складов, и внутренность стволов не отличалась требуемой в армии безукоризненной чистотой.

– Винтовка пристреляна?

– Не знаю, товарищ капитан.

– А кто знает?

– Винтовки выданы нам без стрелковых карточек, товарищ капитан.

– Учебно-боевые стрельбы проводили?

– Нет, товарищ капитан. Мы готовились получать автоматы.

– Вы слишком много придаете значения автоматам, – сказал Лелюков. – Автоматы ведут огонь с ближних дистанций и ведут, как правило, бесприцельный, рассеивающий огонь. Русская трехлинейная винтовка не уступит любому автомату.

Лелюков обратился ко мне:

– Вы умеете обращаться с этой машинкой? – Его палец указал на станковый пулемет, прикорнувший у ствола яблони.

– Теоретически, товарищ капитан.

– Только? – Лелюков недобро ухмыльнулся. – Пулемет – сильное практическое оружие для ведения боя...

Женщина принесла яблоки, поставила поодаль корзину и ушла к дому.

Лелюков подошел к пулемету.

– Попробуйте выкатить его сюда, – приказал мне Лелюков, – и отдайте коробку с лентой.

Я выполнил его распоряжение. Лелюков сказал, чтобы мы расширили круг. Солдаты отошли в стороны. Расселись у деревьев. Кое-кто отправился к корзине с яблоками.

Лелюков расстегнул пуговицы гимнастерки, завернул обшлага. Ловкие руки Лелюкова быстро отщелкнули крышку коробки, выхватили оттуда ленту, вставили латунный язычок в приемник, продернули ее. Я уже имел дело с пулеметами, установленными на самолетах, и без особого труда разобрался в несложной схеме наземного пулемета. Капитан показал, как пользоваться прицельными приспособлениями, обращаться с вертлюгом при вертикальном и горизонтальном обстреле. Пулемет вертелся в его руках, как кинжал в руках Балабана. Капитан объяснил, что пулемет – капризная штука, требует внимания к себе, аккуратности, особенно при набивке лент патронами, – тогда не будет задержек и перекосов.

Лелюков приказал перетащить пулеметы к реке, выслал бойцов батальона постовыми для оцепления стрельбища, установил мишени. Учебная пулеметная стрельба в долине реки переполошила на шоссе шоферов, им показалось, что немцы зашли с тыла.

Вечером мы поужинали борщом и вареной бараниной, выставили караулы, улеглись спать на сене в сараях колхоза. Орудийная стрельба не умолкала.

– Кажется, передвинулась влево, значительно влево, – сказал Дульник.

– Это только кажется, – возразил я. – Стреляют в тех же местах, где и раньше.

Ребята спали тревожно, некоторые бредили. Ночью сменялись часовые. Дульник ушел на пост, возле меня лег Саша.

– Вы не спите, Лагунов? – спросил он.

– Как видишь, – ответил я. – Кстати, Саша, не называй меня на «вы». Это звучит странно.

– Хорошо, – согласился Саша, – не буду. У вас есть водичка?

– Опять у «вас», – укорил я.

– Не буду, не буду, – Саша беззвучно рассмеялся, выпил воды, отдал мне фляжку. – Конечно, смешно, когда человек спит с тобой на соломе, в сарае, вместе воюет и говорит на «вы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.